

РОМАН КОЖУХАРОВ



ДНЕСТР ВПАДАЕТ  
В ЧЁРНОЕ МОРЕ

РОМАН

Часть I. 49 ТЕРРАКОТОВЫХ КОРАБЛИКОВ

I. Облако

*Выьем ещё по стакану вина,  
Будьте здоровы, ребята!*  
Лэутар Михайл Константин

Собак любят больше, чем людей, когда ждут от людей собачьей преданности. Человеческая преданность не в пример необъятнее. Апостол Пётр был предан Учителю всей душой, равно как и апостол Иуда, однако один из них оказался всего лишь трижды малодушным, а другой — единожды предателем.

Мера, что простёрлась в этой триединой разнице, принуждает рассудок и сердце отступить и оступиться в пучины тщеты скудоумия.

---

*КОЖУХАРОВ Роман Романович родился в Тирасполе в 1974 году. В 2004 году окончил Литературный институт им. М. Горького. Автор ряда книг прозы и поэзии. Составитель собрания сочинений поэта Владимира Нарбута (ОГИ, 2018). Публиковался в литературной периодике Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Кишинёва, Тирасполя, в том числе в журналах “Звезда”, “Вопросы литературы”, “Московский вестник”, “Знамя”, “Аврора”, в “Литературной газете”. Лауреат “Русской премии” в номинации “Крупная проза” (2016, роман “Кана”). Лауреат литературной премии “Белый Арап — 2013” (Кишинёв). С 1999-го по 2014 год возглавлял Тираспольское отделение Союза писателей России. Ныне живёт в Москве, преподаёт в Литературном институте им. М. Горького.*

Не таково ли впечатление впервые увидевшего громадину ЦИРКа, этой доминанты нистрянского ландшафта, который то ли как вымахавший до небес гигантский гриб трихолома, то ли как застывший ядерный зонтик прикрывл сирость местного бытия, продавив его ниц, повенчал своей мощью всевластие и раболепие и тем самым пригвоздил на миллион лет вперед эру Зебулова гиперолоида.

ЦИРК довлеет над пространством и временем, давая отныне форму и содержание, внешний вид и сокровенную суть свёрнутой в трубочку Нистрени.

Семь лет, на каждый ярус — по году из срока первого Зебулова президентства, телескопическим способом, без подъёмных кранов и лесов, вершилась композитносталестеклобетонная плоть исполина. Зебулов сердечный замысел воплотил гений архитектора Маноло Диаса-Янковского, а также сонм проектировщиков, тьмы покорных столпотворящей воле строителей.

Проектирование и строительство шли с опорой на парную меру, сопрягая заветы византийского зодчества с гиперболическими взлётами инженера Шухова. И ведь, как известно, новейший стиль зодчества “хай-тек” выварился в котле шуховских идей, а мастер Маноло, испанец с одесскими корнями, трудился в команде, возводившей Дворец Мира и Согласия и торгово-развлекательный центр “Хан-Шатыр” под началом не кого-нибудь, а Нормана Фостера, поборника сетчатых оболочек, а после и сам обрёл заслуженную всемирную славу непревзойдённого создателя сверхвысоких конструкций.

Рассказывали, будто Фостер удостоил своим личным посещением строительную площадку\* будущей Зебуландии. Произошло это в шестой год первого срока правления Зебула и, следовательно, строительства, когда почти доведён был каркас гиперолоида до шестого, предпоследнего уровня-неба, и нижние уровни уже стеклили “умными” полимерами, и будто бы Фостер, светило всемирного зодчества, сам был ослеплён масштабом увиденного, оставив для журналистов ряд отзывов, в которых, что показательно, практически отсутствовали аналитические оценки искушённого профессионала, создателя башни Хёрст, лондонского “Корнишона” и прочего черноморова войска всесветно известных исполинов из стали, стекла и бетона.

Фостер не скупился на эмоции: “Башня растёт, как своеобразный призрак, — высокая, бесплотная, прозрачная и очень таинственная... Фантастическая!” Разве могло не потрясти увиденное последовательному адепту гиперолоидных шуховских кунштюков?

Ячейки фасеточной оболочки с подачи заказчика именовали *ноздрями* или *пóрами*. Полимерная, сложно-умная сеть, покрывавшая мегаплоть, регулировала микроклимат каждого отдельного помещения, каждого небо-яруса и в совокушности всего мегаздания. Башня *дышала* то солёно-морским, то резко континентальным духом розы ветров, просеивала потоки фотонов, неутомимо впитывала лучистые зёрна, сыпаемые вечно полуденным солнцем.

Природа неистовствовала в пеленании башни, но как бы она ни старалась — непогодой дождей, ураганов и шквалов, градом, снегом и стужей или непереносимым маревом зноя, — внутри неизменно пребывала двадцатидвухградусная атмосфера светлого праздника. Таково воцарение едва уловимого этилово-дрожжевого аромата, источаемого из кухни, где в Страстную Субботу поднимается тесто на куличи. Замешанное на яичных желтках, нещадно, без счёта раз взбитое и, наконец, оставленное на покой, в полной тишине (никому из домашних нельзя шуметь и тревожить), в темноте оно растёт виширь и вверх, словно хочет всей своей набухающей массой, без сухого остатка преобразиться в этилово-дрожжевой, пасхальный дух, заполнить всю отведённую в рост вместительную выварку, пространство кухни, дом до маковки чердака и дальше — всюду, везде, своим возрастанием, возможно, знаменуя итог Сошествия во ад: начало восхождения вспять, в горний

---

\* Впрочем, не площадку, а огромную площадь: только под возведение башни, с кольцевым каньоном для речного русла, платформой гидроузла и сопутствующей инфраструктурой было отведено более 200 га, а с учётом строительства Валя-Зебулуй — посадской деревни-спутника мега-ЦИРКа “Море любви” — цифра занятых преобразованием в районе гиперолоида пойменных нистрянских земель возрастала более чем на порядок.

путь — с победой, во славе Поправшего смерть, к всесветному торжеству Воскресения.

Желтки добавляли в краски иконописцы для живости образов и древние зодчие при возведении храмов, — в строительные растворы, для живучести домостроения, закладываемого с запасом прочности до Второго пришествия.

Вознесение над серостью будней оплота мегапразднества цементировала всемогущая воля Зебула, сумевшего обратить на башню взоры самых продвинутых разработчиков в области информационных, цифровых, нано-экологических строительных технологий. В списке фигурировали компании, зарегистрированные в Силиконовой долине и долине Напа, Сколково, в Гуанчжоу и Гонконге, Токио и Дохе, и даже в Пуэрто-Вальярто, столице мексиканского штата Халиско. Перечень прописанных на Кипре и Мальте, на Карибах, Антигуа и Барбудах, Барбадосе, Вирджинских, Соломоновых и прочих островах уводил за горизонт безбрежного океана финансово-экономических возможностей, к укрытому от фискального взора сказочному оффшору-Буяну.

Список был непомерен, тонул сам в себе от обилия желающих к нему приобщиться. Транснациональный конгломерат с долями турок, румын, китайцев, русских, молдаван, грузин, мексиканцев, афроамериканцев Востока и Запада, одесских, тверских, нью-йоркских и калифорнийских евреев, саудитов и катарцев, оформленный в виде хедж-фонда, открыл инвестиционные шлюзы в направлении соучастников реализации небывалого мегапроекта. И потекли изобильные реки в безбрежное “Море любви”.

Жизнестойкость ЦИРКа обусловило море политики и финансов, в пучинах которого Зебул пребывал на правах совладычества, давая свободу архитектурному и организаторскому гению мастера Маноло Диаса-Янковского, державшего в железном своём кулаке каждую из бесчисленных нитей-направлений воплощения мегамакропроекта — от рытья многоуровневого котлована посреди русла реки, закладки в сложном грунте — известняковой породе с обширными локациями песка и суглинка — фундамента, по сути, представляющего собой сверхсовременную гидроэлектростанцию, — до построения — ярус за ярусом, *небо за небом* — всей композитносталестеклобетонной махины.

По свидетельствам, зафиксированным прессой, главный архитектор и сам любил сравнивать ход строительства ЦИРКа с пасхальным тестом. “Растёт, как на дрожжах”, — бывало, говаривал он, завершив очередной обход, каковые проводил ежеутренне и ежевечерне в течение всех семи лет строительства, ни разу за весь этот срок не пропустив ни одного утра и ни одного вечера по болезни, уважительной или прочим причинам, за что у коллег-инженеров, специалистов-наладчиков по направлениям, прорабов и рабочих получил прозвание *железного механика* или *композитного Маноло*. Бытовало и более лаконичное, но применяемое изредка, не для чужих ушей: *Композитор*.

Такою заоблачную меру ответственности объясняли не только свойственной архитектурному гению привычкой к строгому режиму, но и безоглядной преданностью собственной жене Клодии, в которой Маноло души не чаял и с которой практически не расставался.

Неразлучная пара могла явиться на стройку в любое, и во внеурочное время суток, за полночь, в снег, град и дождь, причём архитектор, как правило, пребывал с супругой в постоянном общении, носившем характер некоего неизбывного говорения вслух вопросов, касавшихся ум помрачавших тьмами проблем аспектов мегапостройки, и тут же, исподволь, настойчиво-чутким эхом получаемых от супруги ответов, озвученных неизменно по делу и своей вдохновляющей сутью цементирующих за Клодией по отношению к Маноло совместительство супружеских обязанностей с не менее значимой (а в деле строительства гиперболоида, — возможно, и более) ипостасью музыки *железного композитора*.

Сам мастер часто именовал себя постановщиком, видимо, апеллируя к своему страстному увлечению театром, привитому ему матерью-одесситкой с малых лет, проведённых на берегу Чёрного моря. В многочисленных

интервью Маноло Диас-Янковский разъяснял, что архитектура для него продолжение театра, и суть этой связи определяется просто: возводя здание, он на самом деле ставит трагикомедию. Если в архитектуре используется метрическая система, то в театре единицей измерения является человек. Мастер Маноло при строительстве гиперблоида использовал театральные принципы: человек — мера всех пропорций. Посему и величавая немая музыка новейшего архитектурного стиля “хай-тек”, по аналогии с игрой великого немца, обрела в исполнении композитного маэстро неповторимые грани *хай-тека трагикомического*.

И вырос кулич, только выпеченный как бы в узкой и длинной пасхальной форме, с характерной шапкой наверху — словно застывший порыв теста, предпринявшего попытку сигануть от печного жара за предуготовленные ему пределы.

Гимнотворцы и одописцы, ревнители большого стиля, казалось бы, совсем захиревшие на безрыбье безвременного мелкотемья, воспрями духом и не преминули настроить лиры и флейты на созвучие полнящему нистрянские пойки всепобеждающему ритму грандиозного действия.

В числе прочих, в ряду с хлебом, исполненным пасхального духа, была явлена и иная развёрнутая метафора: кусок глины, взращиваемый всеильной дланью на нистрянском гончарном кругу, непрерывно вращаемом кольцом речных вод; всеискусная воля преобразует лоснящийся от нистрянского тука терракотовый ком в чудесный сосуд-водонос, где с лихвой поместятся все семь мер безбрежного “Моря любви”.

Ванты исполинского каркаса из сверхпрочного и сверхлёгкого сплава оплетают гигантскую конструкцию, вертикально ограничивают её, словно трубчатые, плавно вогнутые кости экзоскелета. Лишь отчасти, при возведении фундамента и первого яруса-неба, Маноло использовал преднапряжённый бетон и титаново-алюминиевые тросы, скорее как дань уважения к подходам и полёту зодческой мысли коллеги и чтимого мэтра по архитектурному цеху, отца Останкинской башни Николая Никитина. Но в целом из подднестровской глубины и ввысь шли всё сплошь композиты и полимеры, придавая мегастроению ажурный вид и рождая эффект воспарения.

Начиная с судьбоносного дня всенистрианского празднества и на миллион лет вперёд ветви (с подачи заказчика, по велению архитектора Маноло, шуховское слово *ветви* для опорных, несущих вантов гиперблоида переименовали в *лозы*) превратятся в натянутые тетивы, многожильной пульсацией улавливающие каждый толчок безмерного прибою жизнерадостности, денно и ночью, круглосуточно и круглогодично, празднично-празднично плещущего в мегастакане. Так вещают анонсы, денно и ночью нацеленные на разогрев аудитории перед неотступно грядущим грандиозным торжеством — открытием мегаЦИРКа.

Авторство “Моря любви”, от величия замысла до гиперблоидного его воплощения, принадлежало, конечно, Зебулу. Однажды в раннем детстве он, совсем ещё маленьким крохой, помогал маме на позднем сборе винограда в окрестностях села, в котором родился и вырос, — родной Христофоровки. Кроха устал и еле сдерживался, чтобы не расплакаться и не расстроить маму, а сбор был поздний, и почва была застужена сильными ночными заморозками, и тогда мама перевернула корзину, сплетённую из виноградных лоз, вверх дном, усадила на неё сынишку и ласково-нежной рукой утёрла его горячие детские слёзы. И хотя виноград ей пришлось собирать и носить аж до кузова в подоле, зато маленький сын напрочь забыл про детское горе, очутившись на вершине опрокинутой корзины, на самой маковке счастья.

Много позже этот прозорливый образ проектировщицы во главе с архитектором Маноло Диасом-Янковским восхищённо соотносили с архитектурным принципом “смотри наоборот”, которым, к примеру, руководствовался Николай Никитин, задумав Останкинскую башню в форме опрокинутой лилии. Полукилометровый цветок как бы вырастал из небесной тверди, едва касаясь лепестками московской земли, скорее паря, чем стоя на земле, ибо практически не имел фундамента.

“Стаканом” ЦИРК окрестили в обставшей его анонимной нистрянской массе, вернее — в её остатках от *многого стада* счастливых, повёрстанных, подобно населению какого-нибудь монограда, в многотысячный коллектив охраны, персонала и прочей ЦИРКовой obsługi.

Не принятые на борт “Зебуландии”, оставшиеся за околицей развесёлой, выросшей, как гриб после дождя, вокруг стройки века (эпохи, эры и далее — зона на миллион лет вперёд) мегадеревни Валя-Зебулуй\*, из всего нескончаемого ассортимента развлечений, предлагаемых ЦИРКом, вынужденно довольствовались лишь одним: сторонним его лицемерием.

Но и этого хватало с лихвой. Разновидностью интеллектуального спорта у местных стала игра в “нареки́ что” взгромоздившегося всенистриянского исполина. Ряды словотворчества сыпались щедро, протягиваясь за горизонт, уходя в облака: “гриб”, “мухомор” (особенно распространенное), “поганка”, “ваза”, “бутылка”, “горло”, “горлышко с пробкой”, “граната”, “труба”, “горн”, “клаксон”, “кегля”, “дылда”, “дудка”, “дудочка”, “дуда”, “швабра”, “плечо”, “перекладина”, “табурет” (из-за характерного Т-образного силуэта башни), “дядя Стёпа”, “дядя Стёпа-милиционер” (с намёком на вехи биографии хозяина башни), “фуражка”, “фуражка с кокардой” (с тем же намёком, из-за характерного силуэта наверхи, схожего с тульей), “загогулина”, “штырь”, “палец”, “гулька”, “гулькин нос”, “прыщ”, “угорь”, “шангила”, “шампур”, “фонарик”, “маяк”, “маяковский”, “факел”, “шуруп”, “гвоздь”, “болт”, “гиперболтик” (приставка гипер- употреблялась и в других многообразных вариациях, равно как и приставка мега-), “шайба”, “таблетка” (по наверхию), “зрак”, “пёс-призрак” (позже, из-за славы и силу набравшего Наф-Наф Доги), “зрачок”, “глаз”, “око”, “очко”, “циклоп”, “одноглазый”, “обруч”, “колесо”, “колёсико”, “кольцо”, “колечко” (по эмблеме, венчавшей наверхие). Отдельные, ожесточённые *ОКОМ* *видящим*, а зубом не имущим лицемерием громадины циники хулили её “наростом”, “шанкром”, “херосимой” (с акцентом на -е) и далее — того хлеще, на минимальных и нулевых уровнях печатного словоудобования.

Чесать языки и нести всякую гиль на тему нистрянского небоскрёба практически не запрещалось, за исключением случаев, откровенно нарушающих административные нормы публичного употребления лексики. Ситуацию свободного и даже вольготного речетворчества якобы закрепил великодушный дозвол самого Зебула.

В сопряжении восхваления с осмеянием усматривалось высшее проявление всё той же парной меры, утверждающей истинное возвеличивание не иначе, как посредством низведения в крайнюю степень ничтожества. “Молвил же классик: *из топи — блат!* Кто был ничем, тот станет всем. Из грязи — в князи”, — цитировались слова самого Зебула, итожившего: “Чешут языками? Ярче будет блестеть!” — тем самым узаконивая безвариантное, при без разницы каком раскладе, пристечение для ЦИРКа одного лишь неизбывного блага.

Образцы анонимного устного народного промысла даже нашли широкое применение в предворявшей церемонию Всенистриянского Празднества по случаю торжественного открытия ЦИРКа чрезвычайно успешной тизерной\*\* кампании, в ходе которой гиперболоид представлял перед многомиллионной аудиторией в череде ярких образов-ребусов, ненавязчиво-ироничных и легко поддающихся загадыванию.

Куратор мегамасштабной рекламной пиар-акции Клодия Диас-Янковская в интервью с журналистами откровенничала о том, что безотказно сработали парные, *амбивалентные волны*: поначалу на зрительские тьмы и тьмы накатывал первый вал тизерных роликов, использующих образы иносказательного поношения. Этот сокрушительный вал двусмысленной топи казался

\* Долина Зебула (молд.).

\*\* Тизер — от англ. teaser “дразнилка, завлекалка”. Рекламное сообщение в виде загадки, которое содержит часть информации о продукте, но при этом сам товар полностью не демонстрируется. Обычно используется на раннем этапе продвижения товара, создавая интригу вокруг него. В тизерах часто применяются двусмысленные и провокационные фразы или изображения.

неискушённой аудитории в действительности валом девятым, призванным не оставить от ЦИРКа *лозы на лозе*; но следом шёл десятый вал, даривший разоблачительную разгадку: опадая с очищающим шипением, он оставлял в приятии многомиллионной аудитории одну лишь твердыню невесомо несомого к тверди сияния ЦИРКа.

При конструировании визуальных головоломок в ход пошли в том числе “змеи” и “змеюка”. Вид башни из окрестных сёл, расположенных по соседству от мегадеревни Валя Зебулуй, — превращённого в ЦИРКовой посад предместья гиперboloида, где жили семьи эксплуатационщиков, а также obsługi и охраны мегацентра, — действительно, отдалённо напоминая потревоженного Нага или Нагайну, вскинувшуюся из днестровской поймы и зависшую в драгоценном сверкании чешуи перед смертоносным броском.

Сходство с чешуйчатым гадом гиперboloиду придавали ячеистые бока — те самые *ноздри*. Каждая из ромбовидных фасеток вмещала умное полимерное покрытие, которое регулировало микроклимат внутри башни, в зависимости от освещения меняло степень прозрачности, под ярким полуденным солнцем превращаясь в сияющий сноп нестерпимого для стороннего глаза расплавленного серебра или золота, которое, чем ближе к закату, тем ярче червонело, поначалу непроглядно-вишнёвым яписом, затем пламенея рубином, всё менее замутнённым, с заходом светила становилось прозрачным, выпуская в нистрянскую ночь токи прущей из башенного нутра праздничной иллюминации.

Прочнее прочих у местных закрепилось за ЦИРКом прозвание “стакан”. На верхотуре конструкции размещена пространственная подкосная система. Ванты крепят её радиально, служа для распределения нагрузки на ствол башни шайбообразного навершия, крыша которого приспособлена под смотровые, вертолётные и мультикоптерные площадки. Макушка, вместе с несущими каркасными *лозами*, придаёт ЦИРКу сходство с гранёным стаканом, накрытым ломтем хлеба, только перед тем как ломоть положить, опрокинули его кверху дном.

В ясный день гиперboloид просматривается за десятки километров — из Слободзеи, Днестровска, Незавертайловки, Карагаша, с колокольни Кицканского монастыря, с Бендерского КПП и выше, из Гербовецкого леса, из правобережных Копанки и Пуркар, в ночи же сияющее иллюминацией “Море любви” усматривалось в бинокль не то что из украинского Кучургана, но и из Раздельной, не говоря уже про Бендеры и Парадизовск.

Неиссякаемую лампонию венчает эмблема, вращающаяся над навершием гиперboloида со скоростью один оборот за час, — окружность, образованная троетирием; три нити, или острые серповидные лезвия, два из которых в непрерывном движении периодически перехлёстываются в эллипс с хвостиком-галочкой, а третья, таким же вольным, ларионовским росчерком ложится жаберной линией, выказывая боковые плавники.

Три нити, сходясь, словно ловят в тенёта схематичное изображение рыбы, тут же чудесным образом в саму неё и обращаясь. Говорили, что сияние в густо-чернильной нистрянской ночи так называемого *ока* (из-за схожести контуров рыбы с формой глазных век) можно было увидеть в цейсовскую оптику с крыш одесских многоэтажек и чуть ли не из Дубоссар, в которых высотки, равные по высоте одесским, отсутствовали, но которые располагались на возвышенности Восточно-Европейской платформы, скатывающейся на юг по наклонной, в просевшую часть нижней Нистрени, к логову мега-села Валя-Зебулуй и собственно гиперboloида.

Воистину, ЦИРК подчинил себе все четыре стихии: огонь электричества, землю, закоптелой вогнутой линзой прогнувшуюся под чудовищной мерой столпа, воздух, размазанный по нистрянским краям вместе с птицами, словно мухи в меду, увязшими в густом южном небе. И воду. Конечно, и воду. Элефантовы пяди наступили Днестру на самое горло, заставив ветхого змея ухватиться за собственный хвост. Каскад малых электростанций, расставленных вверх по течению до самого Могилёва-Подольского, как шпицрутенами после бала, мочалил мглисто-зелёную речную плоть. Потом она, еле живая, ползла через стену Дубоссарской плотины, по бетонным лоткам

бендерского и парадизовского берегов, чтобы здесь, на излёте покато́й слободзейской равнины, её, вконец обессиленную, притянули в воронку Валя-Зебулуй, окончательно лишили спасения и надежды, речным узлом увязав вокруг башни.

Руслó пустили в обхват толкать лопатки турбин гигантского энергообру́ча, который опоясывал столп по всей его трёхкилометровой окружности. Поток влаги круг за кругом, как бессловесная тварь у масляного жёрнова, шестерил ток энергии, которую в сокровенной глубине гиперболоида генераторы и прочая сверхсовременная начинка преобразовывали в неизбывную выработку мегаватт электричества, в свет, фейерверк и сияние на миллион лет негасимого ЦИРКа.

Воистину, сбылось пророчество древности, явив того, кто исчерпал воды Днестра горстью своею и пядью измерил полуденные небеса, и вмести́л в меру прах нистрянского чернозёма, и взвесил на весах и на чашах весовых горы Каменки и холмы от Рыбницы до Дубоссар и до самых слободзейских окраин.

Грандиозный ЦИРК — Центр избирательно-развлекательных конструкций “Море любви” — поражал соразмерным и сообразным сопряжением невесомой ажурности с основательной непоколебимостью, хотя в проекте была заложена амплитуда отклонения наверхи́я до семи метров под воздействием сильного ветра и непогоды.

Вид гиперболоида убедительнейше, без всяких слов утверждал, что воздушность подразумевает небесную твердь, и, следовательно, ЦИРК, столь наглядно всем своим обликом заявивший о своей принадлежности горным стихиям, воспринял атрибуты тверди, превратившись в твердьню.

Прежде чем начинить своё мегачрево разлитой начинкой — небывалым доселе средоточием праздности, развлекухи и игрыщ, Зебулово детище оформилось пропорциями золотого сечения и числа “пи”, вобрало в свою композитносталестеклобетонную плоть счётную меру вершков, пядей, пальмладоней, локтей, аршинов, сажени́х малых, ростовых, больших, косых, маховых и прочих суставов.

Воплощение мегапроекта неукоснительно следовало Зебуловой установке, сформулированной им в том смысле, что мегацентр развлечений “Море любви” должен вознестись и разлиться над серыми буднями, подобно хлябям небесным, и, значит, его следует строить мерой человеческою, какова, как сказано в одной откровенной книжице, мера и Ангела.

“Се — человек” — такую меру, по завету заказчика, положил *композитор* Маноло с подручными в основу возводимого гиперболоида, спроектировав его *по золоту*, с использованием элементов древнеегипетской меры “локоть в локоть с ладонью”, античных корней из двойки и пятёрки и византийской оргии. Высота гиперболоида, равная ростовой сажени игумена Даниила, только в двести раз увеличенной, с учётом цокольного и подземного уровней, соотносится с диаметром его основания в пропорции золотого сечения  $\varphi$  — значения, как известно, иррационального. Окружность фундамента, объятая водным потоком, до полувершка совпадает с окружностью седьмого, наивысшего уровня-неба — огромной таблетки или шляпки мегашурупа уподобленного наверхи́я, объятого воздушными массами.

Тем же *верви́ем* соразмерности намертво связаны четыре нижних и три верхних башенных уровня-неба, в математической точности уподобляясь мере любого из человеков, в коем, будь он хоть дылдой, хоть коротышкой, хоть худым, хоть пузатым, хоть качком-чемпионом, хоть хлюпиком-дохляком, большая мера — от ступней до пупа — соотносится с меньшей — от пупа до макушки в той же иррациональной (то бишь не подвластной человеческому скудоумию) пропорции, что и весь человеческий рост, от ступней до макушки, относится к большей мере — от ступней до пупа.

Тем самым последовательная соразмерность по золотой лесенке возводит на самую маковку ЦИРКа — к неподвластной уму, но доступной сердечному зрению сообразности, наглядно, всей высью нистрянской громады подтверждающая догадку прозорливцев о том, что пропорциональная связь трёх телеснодушевных мер суть триединство, сотворившее человека по образу и подобию Божьему. Отсюда и эмблема, венчающая наверхи́е неусыпным сиянием,

гигантскою голограммой: заключенное в окружность троетирие — три отрезка, соотнесённых в неизбывном движении по кругу.

Вращается и вся башня, но только по-разному: основание гиперболоида в омении вод совершает полный оборот в течение суток, нижние четыре яруса, отделённые от верхних *обручем*, — за 12 часов, пятый и шестой ярусы-небеса — за 6 часов.

Расположенный в московской Останкинской башне ресторан “Седьмое небо”, как известно, даёт своим посетителям совершить полный кругобзор за 40 минут. Наверх ЦИРКа — седьмой ярус-небо, за Останкиным не торопится, ибо выше московской едальни на целых 16 метров, выше глупости меряться, и оттого в осознании обладания самой высокой мечтой — высотой, очерчивает своё полнокругие за 60 минут.

Говорили, правда, что в действительности сажень была взята не символическая ростовая — древний, иерусалимский замер игумена Даниила, — а реальная — в рост Зебула, и весь мега-ЦИРК, получается, размерен и выстроен по Зебуловым меркам.

Подтвердить это или опровергнуть возможности нет никакой. Самого Зебула толком никто не видел не только вживую, или, как принято теперь говорить, “оффлайн”, но и “онлайн”. Мимолётные кадры эфирных трансляций, где он бывал продемонстрирован, ни разу (за семь без малого лет!) не предоставили возможности соотнести указанный облик правителя с какими-либо ростовыми параметрами. То же касалось общеизвестного, единственного практически фотоизображения, где он восседал за рабочим столом, также не предоставлявшего никаких подсказок в мерном вопросе.

Говорили и другое: что мера человеческая, положенная в основание ЦИРКа, имеет соотнесённость куда более страшную своей весткостью, и что тайный вершок или ещё того меньше — полвершка, верхняя фаланга указующего перста, — хоть и крохотка, но непомерная, сродни слезинке ребёнка, которую уронил на фундамент счастья человечества один писатель, или девочке-сироте, зарытой глубоко в камне, на краю котлована другим писателем.

В ролике, анонсирующем в интернете и во множестве электронно-печатных СМИ всенистрианское празднество и приуроченном к торжественному открытию мега-ЦИРКа развлечений, в речи мастера Маноло, комментирующей итоги колоссальной работы, был процитирован третий писатель (по рангу же в сём писательском триумвирате — очевидно, первый): “Здание тяжело ступает, как на слоновых пядях, словно ширина должна исчезнуть... Никакой ширины, только высота”.

Автор-исполнитель собственных композиций Наф-Наф Дога, написавший к ролику саундтрек и обналеченный в кадре, пел-начитывал, раскачивая гиперболоид, пространство и время: “Выше, выше, сколько можно выше — до надмирной гиперболы-крыши, // подобно мысли, одиноко рвущейся к небесам: бесогоны, здесь я встречу вас сам...”

Лишь немногие из сонма зрительской аудитории, видевшей трейлер\*, догадались, что и зодчий ЦИРКа, и Наф-Наф Дога цитируют одного и того же Гоголя. Но те были в курсе, что Гоголь был любимым Зебулов писатель и что эти цитаты в канун судьбоносной церемонии звучали с подачи жены *композитора* в качестве чутко учённых чайний заказчика.

Не потому ли так в тему заплетал парными рифмами Наф-Наф Дога о том, что сажень от глагола “сягнути”, то есть “протягивать руку”, то бишь

\* Видеоролик, предвкушающий грандиозный концерт по случаю всенистрианского празднества в связи с открытием мега-Центра избирательно-развлекательных конструкций — ЦИРК “Море любви”, — за первые сутки трансляции в интернете посмотрели 1,5 млн пользователей. В течение недели ролик набрал около 35 млн (!) просмотров. В дальнейшем, в течение месяца, предшествовавшего торжественному открытию мега-ЦИРКа, на официальный сайт мега-центра за информацией о строительстве гиперболоида, о творчестве речитативщика Наф-Наф Доги обращалось в среднем 6 млн пользователей за сутки. Общее количество пользователей, приобщившихся к будням неизбывного празднества ЦИРКа, в скрупулёзных подробностях в режиме online размещённых в облачном хранилище “Моря любви”, за отчётный период составило почти 160 млн (!). Эта цифра с каждым часом набравшего силу стрим-трансляций, пандемически разрастающегося по мировой паутине облака ЦИРКа, стремительно и последовательно прибывает.



десницу, ибо жест царской воли, повелевающий беспрекословно — непременно и безоговорочно, тотально, — и есть на всё *посягающий*. Ибо как иначе в итоге сказать: “Се пядью моею измерил я небо и землю”?

В день открытия мега-ЦИРКа “Море любви” (вернее же в ночь судьбоносного дня, которая посредством праздничной иллюминации будет обречена сгнута, погрузив мега-центр в тресветлое празднество, нескончаемое на миллион лет) исполнителя речитатива Наф-Наф Догу готовили к возведению в пожизненный титул МС ЦИРКа, в переводе с речитатива — Господаря Всенистриянского Неизбывного Празднества. Ведь МС расшифровывается как *master of celebrity*, то есть хозяин праздника, или же господарь вечеринки (в кулуарах гиперболоида аббревиатура МС означала также, на амеро-румынский манер, и собственно “мега-центр”; бесчисленная охрана махины носила на своей униформе вместе с эмблемой ЦИРКа нашивки с этими буквами).

Случайна ли такая высочайшая честь на самой макушке высоченного гиперболоида, в ослепительном свете софитов и вспышек была уготовлена юному речитативщику, у которого, можно сказать, молоко на губах не обсохло? Вряд ли, если учесть, что Наф-Наф Дога, автор и исполнитель собственных композиций, великий плейбой и владелец пентхауса в “Небо-Логове” — на седьмом небояресе ЦИРКа, — грядущий его и всего Всенистрияństwa МС, по совместительству являлся единокровным сыном Зебула.

Впрочем, валить всё на папину всемогущую руку, объясняя секрет и причины небывалой и скорой славы юного автора и читчика собственных композиций исключительно несметной Зебуловой властью было бы заведомой несправедливостью, играющей на руку анонимному хору завистников, на злоречие лишь и способных, в силу (а вернее, в бессилие) их беспросветной придавленности нистриянской жабой — земноводного эндемика, известного своей неподъемной тяжестью.

В день открытия ЦИРКа (и грядущую за ним ночь) планировалась мировая премьера дебютного альбома Наф-Наф Доги “Ласковый и нежный зверь”. В поддержку альбома уже выпущен сингл в англоязычной версии, с заглавной композицией, давшей название всему альбому — “GentleBeast”. Релиз был осуществлён не где-нибудь, а на калифорнийском рекорд-лейбле самого Снуп Дога, великого и ужасного звёздного мегамонстра гангста-рэпа.

До той поры никому не известно не только на западн, но и на восточном побережье североамериканского континента нистриянскому читчику с его доморощенным речитативом, казалось, заказана не то что дорога, а сама мысль о попадании в калашный ряд мировых топ-чартов. Но, однако, сверчок знал свой шесток. В продюсировании творческого дебюта поучаствовали и другие мегавеличины рэп-движения, явив в этой деятельной поддержке небывалое доселе единодушие продюсеров и рэп-исполнителей Запада и Востока, ещё со времён легендарного Тупака Шакура, павшего смертью храбрых на улице Лас-Вегаса, разделённых непримиримым баттлом, порой приводившим к горячей фазе, со стрельбой и пролитием крови одарённых, неугомонных и невоздержанных на язык — в силу специфики разговорного жанра — артистов.

В случае с синглом “GentleBeast” произошло доселе небывалое в мегадвижении разговорного жанра (как и всякий творческий цех, подверженном засилью стереотипов и недоброжелательных предубеждений): усмирение гнева и ярости под сенью “Ласкового и нежного зверя”, вылившееся в скоординированную на Западе и на Востоке широкомасштабную промоутерскую кампанию, через сети реализации ведущих рекорд-лейблов, в интернете и “offline”, с демонстрацией видеоклипа на песню Наф-Наф Доги “GentleBeast” в прайм-тайм эфирного и кабельного телевидения, по каналам ведущих музыкальных интернет-ресурсов, в том числе на видеоканале Snoop Dogg на YouTube, осуществлявших трансляции посредством крупнейшего облачного хранилища DropBox, напрямую взаимодействующего с облаком мега-ЦИРКа “Море любви”.

Успех релиза превзошёл все ожидания, спровоцировав бурю восторга в разноречивом стане музыкальных критиков, равно как и у зрительской аудитории. Причём эта реакция оказалась не разовым всплеском, а началом последовательного разрастания вширь и вглубь.

Буквально с первых минут появления в открытом доступе клип на композицию “GentleBeast” (“Нежно-ласковый зверь”) занял прочное лидерство в интернет-голосованиях ведущих пиратских торрентов для скачивания, в течение первой недели набрав в интернете почти 50 млн просмотров, за три дня взобравшись в горячую сотню “Биллборда”, через неделю — в десятку, и намертво там закрепившись.

“GentleBeast” на мягких лапах хищника шествовал по планете, вкрадчивой, но неодолимой силой цунами подминая под себя аудитории народов и стран, контентов и континентов. Музыкальные критики, журналисты и рецензенты наперебой гадали о причинах мегауспеха, трактуя его в русле выверенной стратегии, крайне удачно избранного исполнителем загадочного образа, всегда являвшегося публике с закрытым маской или банданой по самые глаза лицом, несомненной неиссякаемой харизмы добротолубия и отзывчивости, беспрерывно и щедро проявлявшейся на повседневном уровне, вне сцены — в общении с коллегами по цеху, с прессой, в любом из навязанных журналистами форматов, будь то развёрнутое интервью в телестудии, незапланированный пресс-подход или заранее подготовленная пресс-конференция, и, наконец, с публикой, со стремительно прибывающей армией поклонниц и фанов — в ходе работы с залом, будь то клуб на *vip*-вечеринке или благотворительное шоу в пользу детей-сирот, или стадион.

Offline-выступления Наф-Наф Доги на ведущих клубных и зальных площадках должны были состояться в течение месяца, в сверхплотном графике мирового турне в поддержку альбома “Ласковый и нежный зверь (Gentlebeast)”, выстроенного и согласованного в удивительно сжатые сроки. Старт тура даст грандиозный концерт в Парадизовске, в самом центре нистрянской столицы, а дальнейший гастрольный перечень реперных точек маршрута помрачал чаяния взыскательных фанатов: мегагеография турне, как из ячеек, в привязке к конкретной местности, складывалась из локальных туров: в России — старт в Москве, затем Питер, Краснодар (с участием Басты), Череповец, Анадырь, с выездом на озеро Эльгыгытгын (с участием Николая Васильева, потомка и наследника “дедушки Никона”, великого шамана якутского верхневиллойского улуса Ньыыкана Огонньора), и завершение в Петропавловске-Камчатском, на берегу Авачинской бухты, после — Токио, в Китае — Шанхай, Чэнду, Гуанчжоу, Гонконг, по одному выступлению в обеих Кореях, в непальском Катманду (с участием Насрат Фатер-Али Хана), индийских Мумбаи и Бангалоре, на Ближнем Востоке — старт в Дамаске, затем Бейрут, Абу-Даби, Доха, Иерусалим, и завершение пляжным сетом на капернаумском побережье озера Кинерет (с участием Али Ахмада Саида Асбара, также известного как дамаскинец Адонис, в программе “Единственное в форме множественного”), в Африке — сет на территории древнего Карфагена в современном Тунисе, затем — в “африканском Париже”, столице Эфиопии и Африканского Сиона Аддис-Абебе (с участием мегадиджея Afrojack), далее — турецкий Царьград, Кипр, Ибица (с участием самого Кальвина Харриса), Париж европейский и прочие западноевропейские столицы (с подключением в Амстердаме к ежегодному фестивалю электронной музыки Amsterdam Dance Event при участии мегадиджея Tiesto), и — символическое завершение европейского тура в исландских территориальных пучинах северной Атлантики, в виду извергающегося вулкана Эйяфьядлайёкюдль (при участии диджея Снэйка, то есть “Змея”); далее — пляжный мегасет в заливе Гуанабара в виду возвышающегося поверх Сахарной Головы с распростёртыми поверх Рио-де-Жанейро дьянами Спасителя (совместно с DJ Armin van Buuren), выступление в аргентинском Буэнос-Айресе, акустический Unplugged-концерт\* на макушке перуанской Мачу-Пикчу (разрешение Департамента исторического и культурного наследия в Лиме получено по ходатайству Центра всемирного наследия UNESCO), затем масштабное *open-air* выступление на гаванской набережной Малекон, далее — Нью-Йорк и Лос-Анжелес.

Итожило это всепланетное мегадейство, авансом уже признанное музыкальным событием года и первым претендентом на Эмми, выступление

---

\* Unplugged (англ.) — без подключения, *вживую*.

в Лас-Вегасе, с участием Снуп Дога, Канье Уэста, Эминема и Dr. Dre, а также повторным подключением к топ-вечеринке лидера диджейского “Форбса” Кальвина Харриса, накануне собственно презентации “Ласкового и нежного зверя”, которая должна была состояться в “Дога-Логове” ЦИРКа. О составе мегазвёздных участников венчающей вечеринки в “Дога-Логове” заранее не сообщалось, что только поднимало до запредельных высот и без того зашкаливающий градус интриги и ажиотажа, связанных с мировым мегатуром в поддержку альбома “Ласковый и нежный зверь”.

Бесспорной удачей дебюта Наф-Наф Доги называли заглавную песню, концептуально заострившую восприятие всех остальных *вещей*, собранных под обложкой. Лаконичный и резкий, выстроенный на единстве и борьбе ярых противоположностей, на великой несогласуемости, с одной стороны, ласки и нежности, а с другой — зримо явленного зверства, GentleBeast был единодушно признан новым словом не только в культуре речи и современной музыке, но в искусстве вообще.

Само слово “джентльбист” закрепилось в лексиконе обиходного общения, стремительно выйдя за рамки употребления в англоязычных странах, став не просто новомодным неологизмом, а неким понятийным поколенческим трендом, причём употреблявшимся не в пику, не в противопоставление “джентльмену”, а как бы дополняя и даже заменяя его.

Краеугольным камнем для Наф-Наф Доги в исполненном вдохновения и творческого порыва процессе выстраивания авторского концепта GentleBeast явился не кто иной, как доберман, или же Doberman, как известно, являющийся чем-то вроде тотема, сценическим образом великого и ужасного псоглавца Снуп Дога, который, как известно, является крёстным отцом Наф-Наф Доги не только в творчестве, но и по жизни.

Будучи приверженцем эфиопского православия, Снуп Дог принял участие в обряде таинства крещения Наф-Наф Доги, с наречением его именем Христофор. Поначалу обряд намеревались провести в ветхой двухсотлетней церквушке Духа Святого, расположенной в нистрянской Христофоровке — родном селе отца рэп-исполнителя. В качестве варианта рассматривался и храм соседнего села Мокра. Но в итоге лишённая пафоса, но пышная по составу участников церемония состоялась в новом храме святого Христофора, возведённом в мегаселе Валя-Зебулуй в аккурат к крестинам Наф-Наф Доги.

Визит мегазвезды уровня Snoop Dog, инкогнито прибывшего буквально на несколько часов на крестины Наф-Наф Доги в Нистрению — в дыру, забытую Богом и, в силу её отсутствия на политической карте мира, не признаваемую князем мира сего, — несмотря на сугубо частный и даже тайный характер поездки, всё же стал достоянием прессы, и, как следствие, спровоцировал брожение умов, волны молвы, всевозможных догадок и домыслов.

Как уточняли в запоздалых комментариях таблоиды, разрешение на участие в церемонии в качестве крёстного отца для Снуп Дога, исповедовавшего африканское монофизитское православие, было испрошено у владыки местной православной митрополии, и митрополит таковое разрешение соизволил предоставить, обосновывая его тем, что вера православная благословляет духовное устремление и в участи последователей прозорливцев умного делания в лике Паисия Величковского, и в лице абиссинского владыки Хайле Селасие, наследовавшего трёхтысячелетней династии создателя ветхозаветного Храма, премудрого царя Соломона и зело красотой и умом одарённой Всевышним царицы Савской.

Крёстной матерью в ходе таинства должна была стать Клодия, жена и муза *железного композитора* Маноло, ближайшая помощница и соратница Зебула в делах мега-ЦИРКа, наставница и наперсница Наф-Наф Доги с малых лет, или попросту *длань*, как именовал её, недвусмысленно намекая на роль в устроении наполняемости мегацентра, сам создатель “Моря любви”, причём эшитет *Прекрасная* в сочетании с её именем произносился как данность, предначертанная свыше и воспринятая в повсеместном вседневно-всенощном употреблении как в обиходе ЦИРКа, так и за его пределами. Но в последний момент она отказалась без объяснения причин, и в пару

Снуп Догу были вынуждены спешно взять некую Подакцизную, верную соратницу Зебула-старшего ещё с догиперболоидных времён.

Как позже признавали представители масс-медиа, именно эти крестины, событие небывалое не только для Нистрени, но и для региона в целом, по жанру — само таинство, да ещё оказавшееся облечённым в ореол сверхбогатых причуд и таинственности, во многом послужило толчком для последовавшей массивированной тизерной кампании, которая с методично-умелым расчётом, стремительно разрастаясь, сопровождала сверхуспешное продвижение релиза сингла GentleBeast и одноимённого дебютного альбома Наф-Наф Доги, ненавязчиво, но умело вступая в перекличку с не менее масштабной и массивированной тизерной кампанией, параллельно и одновременно раскручиваемой в отношении предстоящего открытия мега-Центра избирательно-развлекательных конструкций “Море любви”.

Сценический образ исполнителя, которому тот неукоснительно следовал и на сцене, и перед телекамерами, уже сам по себе предусматривал загадку в виде надетого на голову капшона толстовки, солнцезащитных очков и, главное, — маски, матерчатой или, очевидно, изготовленной из папье-маше. Неизменной личиной маски являлась ощеренная клыкастая пасть, причём перекошенная от ярости морда могла принадлежать либо свинье, либо доберману или волкоподобной псине.

Впоследствии в копилку кличек гиперболоида добавилось “Логово Доги” — по названию угнездившегося в седьмом небояресе пентхауса, места прописки и творчества рэп-исполнителя и, следовательно, пребывания его час от часу прибывающей всесветной славы.

Тут же, просклоняв, название растиражировали в “Догологово”, “Догу-Магогу” или, на амеро-румынский манер, — в “DOGO-LOGOVO” и “DOGA-LOGO”, видимо, с умыслом пограбить сонмам посетителей из-за рубежа, зафрахтовавших online на официальном сайте [www.circus-seaofloff.com](http://www.circus-seaofloff.com), равно как и на персональном сайте Наф-Наф Доги — [www.doga.com](http://www.doga.com) — скорое посещение ЦИРКа, как и концертов стремительно набирающего всемирную популярность рэп-исполнителя, и должных вскорости потянуться в нистрянские края (как говорят местные умники, там, где заканчивается Нистрениа, начинается гиперболоид) со стороны Киева и Кишинёва, Вены и Бухареста, из Стамбула и Анкары, Краснодар, Москвы и Питера, с трапов заходящих на одесский рейд и в порт Джурджулешты лайнеров, садящихся на близлежащие взлётные полосы аэробусов зарубежных посетителей (прибытие vip-персон на гели- и квадрокоптерах ожидалось непосредственно на макушку гиперболоида), впрочем, и как следствие непомерно растущей, концентрическими кругами расходящейся по городам и весям, странам и континентам популярности рэп-исполнителя, МС мегацентра “Море любви” и Господаря неизбывного всенистрианского празднества, Наф-Наф Доги.

Славу его, равно как и пропетые и прочитанные им слова, подобно завету в ковчеге, хранило облако, или же облачное хранилище ЦИРКа. В отличие от святая святых, содержимым облака, собственным нещечком Господарь всенистрианского празднества щедро делился с каждым встречным-поперечным, не щадя личного времени (ибо не имел его вовсе), не взирая на расстоянья, запросто преодолеваемые нажатием клавиши мышки. Слава, явленная в образе ласково-нежного зверя, растекалась лозой по древу гиперболоида, струилась оптоволоконном, эфирными Wi-Fi каналами — по весям, по городам, странам и континентам, достигая каждого пользователя, каждого глаза и уха, каждого сердца...

Образ, наводивший оторопь видом столь зримо явленного пароксизма агрессии, умело эксплуатируемый самим Наф-Наф Догой и на сцене, и вне её, резонирующий со стратегией поведения и исполнения текстов, вступал в сложную, исполненную обертонов взаимосвязь с лирической мелодикой его песен, манерой, метко окрещённой музыковедами *миоритической*.

Отзывы на релиз сингла “GentleBeast” акцентировали внимание на двух глубинных свойствах исполнительской манеры Наф-Наф Доги: первое —

стойкая устремлённость к архаике мира в русле мифологически-ассоциативной манеры его восприятия, говоря же простым языком, — обращение к фольклору; и второе — трагедийность и катарсис, говоря же простым языком, — желание во что бы то ни стало довести аудиторию до слёз.

Выступление исполнитель, как правило, открывал на выбор одним из девизов — либо “Не пойман — не зверь!”, либо “Время собирать камни!”, либо “Я заставлю вас трепетать!”, или же “Тетива речитатива моего медоречива!” (или, в зависимости от настроения исполнителя и обстоятельств выступления, “...слезо-, ядоточива!”, “...велеречива!”), или “Читка! Читка! Тэча читик!”\* — и, надо признать, неизменно своего добивался: ритмичный прибой, резонируя с непереносимым, как сильная боль, диссонансом бичующей из мега-динамиков декламации и отсюда же льющейся без меры шемящей мелодии превращал толпу в море, вскипающее истерикой, бульон из эмоций и ступора.

Кумулятивный эффект воздействия, так чётко сработавший, в частности, во время звучания композиции “GentleBeast”, связывали в том числе (и даже в первую очередь) с главной музыкальной лирической темой, в качестве которой Наф-Наф Дога органично использовал известнейшую мелодию композитора Доги, но только Евгения.

Вальс “Мой ласковый и нежный зверь”, написанный к одноимённому советскому кинофильму, снятому по мотивам повести Чехова, а на деле — ремейку сказочной истории про аленький цветочек, ставшей, в свой черёд, изводом сюжета про красавицу и чудовище, впоследствии снискавший своему автору такую громкую славу, что даже оказался любимым вальсом актёра и американского президента Рональда Рейгана, а авторитетнейшим в мире музыки изданием “Billboard” — *библией* звукозаписывающей индустрии — был включён в пятёрку наиболее знаковых мелодий XX столетия.

Впоследствии самого маэстро и всё его многогранное творчество, вбивавшее не только многочисленные саундтреки к кинокартинам, но и объёмнейший свод произведений классических жанров, среди прочих — симфонии и оратории, во всём мире вспоминали не иначе, как в привязке к тому самому досточтимому вальсу о зверских ласке и нежности.

И вот спустя десятилетия старые меха нетленной мелодии, благодаря безмерному таланту Наф-Наф Доги, сделанной на No Limit Records виртуозной аранжировке с использованием фирменных семплов ведущей студии хип-хопа Западного североамериканского побережья, наполнились новым вином вдохновения.

Просочилась, правда, в СМИ информация, что автор мелодии вальса, пребывающий в ореоле былой славы, якобы выказал резкое недовольство тем, как обошлись с его незабвенной мелодией, а также заявил о том, что её использовали, у него разрешения не спросив. Более того, маэстро обвинил молодого исполнителя речитатива в присвоении ни много ни мало, а своего собственного “личностного образа, воплощённого в слове”, каковым является его всемирно прославленная фамилия, и что, вкупе с бесстыдным использованием без спроса нетленной мелодии, это является не чем иным, как бессовестной кражей.

Впрочем, тут же в ряде изданий постсоветского пространства появились публикации, в которых достаточно хлётко и нелюбезно анализировались детали биографии и психологического портрета пожилого маэстро, который, как выяснилось, родом был из нистрянского села Мокра, расположенного по соседству, как выяснилось, от села Христофоровка, в котором родился не кто-нибудь, а отец читчика Наф-Наф Доги, являющийся всеильным правителем непризнанной, но непокорённой Нистрени.

Тут же в сюжет подвёрстывались прежние высказывания в прессе пожилого маэстро по поводу своей малой родины, содержащие неизменно высокий градус резкого недовольства по поводу самого фактического наличия непризнанной де-юре Нистрени, а также всемерной поддержки её великодержавной и *долгой* рукою Москвы, притом, что сам маэстро, создавший

---

\* Тэча читик (молд.) — молчать как рыба.

нетленный вальс для советского ремейка известной сказки, постоянно проживал не где-нибудь, а в той самой Москве, которую, вкупе со злосчастной Нистренией, прихотдившейся ему малой родиной, с жаром, присущим деятелю искусства, бичевал в жанре инвективы.

Ретивые журналисты ставили ребром вопрос о глубинных причинах столь ярко выраженных аберраций сознания, явленных в речах и поведении маэстро, и тут же, выступая циничными доильцами сплетен, высказывали ничем, кроме досужих домыслов, не подкреплённую версию о не связанных ни с политикой, ни с нарушением авторских прав, глубоко личных мотивах, лежащих в основе столь резкой неприязни со стороны пожилого маэстро в отношении к Нистрени в целом и к творчеству речитативщика Наф-Наф Доги, в частности. Указывалось, что отец Наф-Наф Доги, правитель непризнанной, но непокорённой Нистрени, появился на свет в Христофоровке и рос в неполной семье, воспитываясь матерью-одиночкой, которая, живя на более чем скромную зарплату учительницы музыки, которую она преподавала в мокрянской школе, спасаясь домашним хозяйством, тем не менее сумела вырастить достойного сына. При этом она, будучи по многочисленным отзывам селян-земляков, красивой и добропорядочной женщиной, так и не связала ни с кем свою судьбу, всю себя посвятив воспитанию сына.

О том, кто же является его отцом, она так и не рассказала, унеся эту тайну на сельское кладбище Христофоровки, где покоится с миром в роскошном мраморном склепе и куда ежегодно в Родительский день, как любящий и чтящий сын, вместе с единокровным сыном, при многолюдном стечении жителей Христофоровки, Мокры и прочих окрестных сёл, приходит правитель Зебул, пусть не сделавшийся, как мечтала мать, музыкантом, но избравший опасный и трудный, тернистый путь работника силового ведомства (цитировалось даже вскользь, в светлой печали якобы оброненное Зебулом у материнской могилы воспоминание о том, как он, будучи совсем ещё юным сотрудником патрульно-постовой службы, успокаивал взгустнувшую мать: “Видишь, мама, ты хотела, чтобы я давил на клавиши и педали органа, а я и давлю на педали, но — в “уазике”, в органах”) и позже непомерно возросший в силе и власти.

Вот тут-то и указывалось, с голословным намёком, что как раз в эти годы, отмеченные появлением на свет будущего правителя Нистрени, его земляк, будучи знаменитым уже композитором, пребывал в эпицентре счастливой, исполненной творческой силы и вдохновения зрелости, в ореоле нарастающей всесоюзной славы, исподволь стремившей его к зениту, увенчанному созданием шедеврального киновальса.

В те годы маэстро ничуть не чурался посещения малой родины, наоборот, любил нагрязнуть в щемящие сладкой истомой родные места, в сиянии признания и любви, от щедрот неисчерпаемого таланта провести в местном ДК совершенно бесплатный концерт для селян-земляков в тёплой, родственной, можно сказать, атмосфере.

Смакование стародавних былей и небылей, да ещё происходивших, по допотопным всесоюзным меркам, в волчьем углу заштатной нистрянской тмутаракани, да ещё в советскую пору, безвозвратно канувшую в Лету безвременья, вряд ли могло послужить веским информационным поводом для “жёлтых” масс-медиа, но, однако же, посеявший ветер пожал бурю, и несчастный маэстро уже был не то что не рад, а безутешно раздавлен напором, обрушенным на него жадными до переплетания сплетен электронно-бумажными СМИ, и уже не мог спрятаться в обжитой им Москве от досужих гонцов телепрограммы “Рассказать всё, что скрыто”, правдами и неправдами пытавшихся выудить его в телеэфир. Показательно, что сторона Наф-Наф Доги в этом вопросе хранила молчание, деликатно, но твёрдо парируя вопросы на щекотливую тему лаконичным: “Без комментариев”.

Флёр скандала, однако, только пошёл на пользу, добавив накала и без того зашкаливающей всесветно-предпраздничной суматохе, за которой из информационного пространства и эфирного времени совсем как-то вымылось, что ведь тут же вот-вот ещё и выборы...

Более чем за месяц до открытия “Моря любви” и возведения Наф-Наф Доги в мегацентровы господари требовалось всенародно избрать всенистриянского лидера. Торжество доброй воли непроизвольно меркло по степени будничности в сравнении с грядой нарастающих на горизонте событий, грандиозным мега-празднеством, но, однако же, сохраняло свою календарную знаменательность в контексте текущих людских чаяний.

Выходило, что, если считать от выборов, то месяц — зазор, как раз отстоявший не только от открытия ЦИРКа, но и от инаугурации верховного правителя Нистрении Зебула в случае избрания его на второй властительный срок. А что такое случай, как не часть, соотнесённая в золотой пропорции с закономерным целым?

Не принято резать ремни из кожи неубитого змея, но, глядя правде событий в глаза, следовало, набравшись духу или просто набравшись, спросить, так же прямо, с оглядкой на образцово-показательную прямогу неуступчивого взгляда правды событий: не близится ли повод наполнить стакан до краёв и даже с горкой?

И стакан представлялся исполненным, неспешно, любовно — целым морем мерно-безбрежной, неизменно-праздничной радости. Море — целое, но цедится по капле, и нет им ни дна и ни края.

## 2. Роса

*Ибо роса Твоя — роса растений,  
и земля извергнет мертвецов.*

Исаия, 26:19

Кассетник явился к участку ещё до открытия. Стоял у ограды, в стороне от кучки пенсионеров, собранных загодя нетерпением скорей изъязвить свою волю. С пылом не по летам общественники обсуждали своих избранников. Подстёгиваемый пафосной музыкой из репродукторов, был пожилых нарастал, грозил перейти за черту, проведённую избиркомом в отношении наличия каких-либо элементов предвыборной агитации в день голосования вблизи участков.

Исполнитель из советского прошлого зычно звал к лучшей доле, к светлomu завтра. Песня до краёв исполняла истоптанный догонялками двор, запружала пучком упиравшие в школу окрестные переулки, лилась по Восстания, по Труда, по Клинцовскому, по Базарной, по Свердлова, вплоть до Полецкого, до Чернышевского и Белинского, и аж до Одесской, и во всю ширь — до парка, до театра и студгородка — рвалась в поля и дальше, до самого до Днестра.

Кто знает, возможно, именно эта воздух твердившая мощь безоглядного жизнелюбия, кажется, скрытая в безвозвратное ретро, но вот извлечённая из затхлых бобин ради праздника всенародного голосования, возвала Кассетника из его беспробудного должного прозябания.

И вот он явился. Но чем ближе к участку, тем ступал неувереннее, словно трудно ему становилось одолевать напор воскрешённого баритона, как топтать встречу ветра, тронутого искусительным запахом тлена.

Или тяжело было взобраться по крутому крыльцу школы, ибо требовалось наверх, к открытым настежь дверям, а его неодолимо тянуло вниз? Постоял у ступеней, переминаясь с ноги на ногу. Как сказали бы растениеводы — всем своим габитусом выказывая как бы смущение и неуверенность. Но ведь габитус — облик внешний, всё, кроме корней. А Кассетник весь был — как бы корни.

Может, именно поэтому не понимал он, почему идти надо в школу? Что ему школа? Ему надо к урне, пусть и избирательной. А при чём же тут школа? Может, эта подмена объектов, для других очевидная, для него никак не могла совершиться? А может, не имела ни капли возможности?

Школу обратили на сутки в средоточие изъязвлений уготованных кодексом избирательных прав и обязанностей. Традиция эта, столь же исконная, как и песенное сопровождение судьбоносного дня, напоминала этапы запекания курицы. Сперва — потрошение. Общеобразовательное учреждение

опорожняли от гомона перемен, от звонков и уроков, от гвалта и топота детворы во всём необъятном диапазоне от беспримерных отличников до прокуренных хулиганствующих второгодников. Следом шла фаршировка. Пустое и звонкое бюро фойе, как какими-нибудь цитрусами, или яблоками, или блинами, набивали кабинками, урнами — стационарной и переносными, стендами, списками, бюллетенями и прочим избиркомовским скарбом.

Впрочем, некогда на многих советских кухнях предпочитали рецепт незамысловатый до крайности, но настолько же эффективный. Блюдо именовалось “курица на бутылке”. Потрошёную птицу насаживали на стеклотару, в зависимости от размера особи — пивную, винную или из-под шампанского — и в такой растопырке отправляли в духовку. Никаких тебе цитрусов или яблок, или ещё того хлеще — блинов.

Такой вот бутылкой, раскаляемой в утробе жар-птицы и жаром своим направлявшей процесс, становилась избирательная комиссия, размещённая на время кампании в школьном фойе. Коммен зи битте, избирком, коммен зи битте!..

Духовка раскочегаривалась к истечению судьбоносного дня, синхронно приливу к урнам электората. Добела накалялось к закрытию, когда от пыла сбывавшихся чаяний, от препирательств и жалоб придирчивых наблюдателей, от претензий переписанных, выписанных, в списках не значившихся и прочих-иных в правах обойдённых железные нервы членов комиссии принимались плавиться.

Гул напряжения нарастал, нагнетая взрывоопасность, но дотикивало до вожделенных двадцати-ноль-ноль, отзываясь в утомлённом сознании членов УИКов и ТИКов, во всех уголках мало-мальской Нистрении подспудным “...в Петропавловске-Камчатском — полночь”.

В полночь голос теряется, иссякает, словно вода в зажатом наглухо крапе. В права вступает безмолвная тайна. Закрытый участок, действительно, становился бутылкой, запечатанной сургучом. Внутри же её творилось бурление: из урны, как то ли из бака с мусором, то ли как из разбойничьего мешка с сокровищами, вываливали на стол листы к загребушим, готовым угли таскать из огня рукам избиркомовцев.

Метроном бытия, рождённого в недрах советской страны, выверяли сигналы точного времени. Кульминация сверки наступала в пятнадцать-ноль-ноль по Москве, когда каждая радиоточка — в каждой сакле, хате, избе, яранге, иглу, квартире, в цеху, кабинете, казарме, палате, на каждом ветру открытом полевом стане, в каждой, в недра и стахановский пот утопленной шахте — озвучивала для слуха заветную фразу: “В Петропавловске-Камчатском — полночь”.

Выверенное по произнесённому бытие представлялось беспечным, как море, ибо плескалось оно в охранительных недрах Родины-матери, ревность-любовь и просторы объятий которой, казалось, не имеют ни конца, и ни края.

А ведь дикторский голос, транслируемый всеозвонным эфиром Центрального радио, вещал как раз про края. Петропавловск-Камчатский и полночь в совокупности означали черту, за которой сходились два края — пространства и времени. На районе краями расходятся, как кораблики в море, а тут вот сошлись. Неужели этой, изо дня в день кукуемой концовкой вещей диктор накликал-таки конец — на себя, на своё Всесоюзное радио, на страну, казавшуюся нескончаемо длимой? Кто ищет, найдёт. Проруха нашлась, оставив выступившим за черту искателям одно только — кануть.

Так бы кануло в суматохе финальных подсчётов, выверке протоколов и прочей избирательной документации появление на участке № 236 одного из исчисленных в списках двух тысяч трёхсот шестидесяти шести проживающих на участке граждан с правом голоса, если б не бдительная тётя Зоя. Накануне она почти не спала. В кафе по соседству с их “сталинкой” гуляла полночи свадьба. Окно тёти Зоинной “однушки” выходило во двор, и динамики её чуткому сну докучали не очень, но старушке мешала заснуть не громкая музыка, а любопытство, к старости ставшее всепоглощающей страстью.

Преклонные годы катятся по наклонной, с ускорением, потому — какой уж тут сон, если времени как бы и нет? К тому же, после третьего года



вконец её подкосившего перелома шейки бедра лежать было больно спине, и в правом бедре, и в распухших ногах начинало ныть и неметь, отдаваясь во всём огрузневшем, тяжком к движению теле.

Как она потом жаловалась на утренних предвыборных посиделках и Мане, и Фроловне, и во всеуслышанье, ведь всякий раз, как гулянка напротив, так шастают, справляют нужду или тыркаются. Последнее её донимало особо. К полуночи, когда свадебное торжество достигало накала, разгорячённые пляской и выпивкой гости, как правило, молодёжь, начинали выскакивать к перекрёстку улиц Полецкого и Свердлова, в одиночку и парами выпскивать уголки поукромней для отправления разноплановых нужд. В том числе и любовной.

Дворики стареньких двухэтажек сталинской, послевоенной постройки, обжитых тремя-четырьмя поколениями, с обязательными беседками под обязательными акациями и такими же непременными лавочками под непременными вишнями — для желающих освежиться — оказывались как нельзя кстати. В ночь с субботы на воскресенье луна полным диском жарила прямо в закуток у окна тёти Зои и в беседку напротив, где парочка возилась почти битый час. Соседки-подружки допытывали подробностей, а Зоя, дразня, качала седой головой, кряхтя: “А потом уж ко мне в загон, под окно перебрались... Что делалось, бабоньки!.. Ни стыда и ни совести...”

Загоном называлось пространство, зажатое между косой шиферной крышей спуска в подвал и стеной балконной пристройки, самовольно притиснутой наглым соседом. Угол балкона практически начисто лишил тётю Зоину кухню дневного света. Решить проблему перманентного солнечного затмения не смогли письменные обращения ни в городские власти, ни в прокуратуру, ни даже к уполномоченному по правам человека. А после того как хмырь-сосед пригрозил замуровать и окошко, тётя Зоя попытки свои прекратила. И бабы отсоветовали связываться с нелюдимым и мутным семейством, занявшим Нюрину двухкомнатную по соседству.

Вначале-то они проживали как квартиранты. Нюрка, конечно, была пропойца, но сердцем незлобливая. Себе худо делала, а другому никому. Никому, кроме, может быть, дочери. В Кутюшке своей души не чаяла, только та росла бурьян бурьяном среди неодолимой мамашиной тяги к выпивке и компаниям неряшливых собутыльников.

С Нюркиной смертью — внезапной, от палёной водки, — шептались, не всё было чисто. Как бы там ни было, а её постояльцы вдруг оказались полноправными владельцами Нюриной квартиры, с соответствующими документами, выверенными в БТИ, договором о купле-продаже и Нюркиной подписью, и всеми необходимыми визами и печатями регпалаты.

Катька, или, как сызмальства все её звали, Кутюшка, лишённая нечаянной радости родительской ласки, в итоге лишилась и матери, и жилищлощади. Куда податься сироте семнадцати лет? Бабы говорили, Кутюшка уехала к тётке, которая в Подмосковье ухаживала за стариком. Ничего вроде, устроилась продавщицей в ларьке, при деле, в торговый центр планирует перейти. Дочка Манина дружит с крестницей Нюриной тётки. Та тоже на заработках, приезжала на праздники.

А у тётю Зою под боком остались эти хмыри. Они-то и в статусе квартирантов ни с кем не здоровались, что дети, что взрослые — мутнолицые, злые, нахмуренные. А как стали хозяевами, так и вовсе занелюдимели — шмыг туда, шмыг сюда, будто долго невмочь им бывать на свету. И соседку, гадёньши, балконом своим света лишили. Как говорится — ни себе, ни людям. Но говорится же и другое: нет худа без добра. Лишённый света с наступлением темноты вновь вступает в права обладателя.

Покойный муж тётю Зою, десять лет как почивший, некогда был заядлый рыбак и мастер ловли на запрещённые рыбинспекцией снасти “хватка”, “косынка” и “живодёр”. Сладкие парочки, укрываясь в загатник пространства, устроенный под окном тётю Зою самовольной пристройкой, и думать не подозревали, что в самый вожделенный момент угождали в ловчие сети.

Время ночью если и движется, то томительно, как сквозит пустота водной толщи в неподвижности озера. Такой же неспешной истомой отличался

рассказ тётки Зои: “Сначала курили... а юбка ейная, ну, такая короткая, что и задрать не надо... обжимались... тот что-то всё: “Бу-бу-бу...” — а та всё: “Хи-хи-хи...” — будто кто щекотит её... после лизались, шебуршали... а после... Ох, ох, ох... Вот уж досыть натыркались!..”

Итоговое причитание звучало так многозначительно, что, наверное, и психологу с опытом навряд ли удалось бы проникнуть в ход старческих мыслей и чайний рассказчицы, понять, чего в тех значениях больше — показной досады или тайного смакования, или же — всего и помножку.

Подружечки-бабоньки, сиделицы-на-скамеице и вовсе в такие глубины не погружались. Напротив — шли послушно рассказу вслед, додумывая и домысливая Зойкин рассказ с живостью необычайной. Как опытному борцу — выставь только мизинец, тут же следует через бедро. Так и им — дай штришок, да что там — искоса абрис-пунктир, тут же выгрузят на-гора холст с маслом — в полный рост тебе девочку с абрикосом.

Баба Маня сокрушённо откликнулась, что девки нынче всамделишно курят пошибче парней, что твой паровоз, а оденутся так, что прям сплошная срамота. А Фроловна вдруг захвохтала, что не сплошная, и что нечего в кучу валить, и всё, мол, Зойка придумала, потому что ни черта своими диоптриями увидеть не может. Но тётя Зоя умеючи-властно поползновения эти парировала тем, что да, мол, пусть и в диоптриях, но всё она видит прекрасно, особенно в темноте, потому что линзы её пусть толстенные, но восьмёрка со знаком “-”, а Фролины — десять диоптрий — плюсовые, потому она своими поросычьими глазками дальше собственного носа не видит.

Быть бы соре, кабы баба Маня не кинула к месту сходящимся в бранном сумо косточку выборной темы. Забыв про диоптрии, принялись за кандидатов, давай их судить и рядить. Рядить — своего, косточки перемывать — оппонентам. В разговорах про выборы предпосылок для рутани создавалось не меньше, и чем ближе к судьбоносному воскресению, тем накал дискуссий на лавочке возрастал. Ситуацию усугубляло наличие у каждой старушки среди баллотировавшихся на округе персонального предпочтения.

Фроловна отстаивала (верней же — отсиживала, в силу сильной отёчности ног, ревматизма и болей в распухших коленных суставах) избранничество молодого да раннего, энергичного Диснейленда. “Денис Диснейленд — по жизни без бед!”. Баба Маня, радевшая за кандидата Подакцизную, дразнила: “Ну, чё, Фроловна, принёс какие пайки, или хоть задрипанский какой календарик твой *Жизня?*”. Ассортиментом предвыборной агитационной продукции бабы Манина избранница, действительно, не только затыкала за пояс нахрапистого, но не шибко размахистого на ресурсы Фролиного кандидата, но и явно замахивалась на полиграфические разносолы кандидата Зебула. “Фроловна, не обессудь, но жидок малой”, — констатировала тётя Зоя. “Зато на него смотреть — по душе, — не оставалась внакладе Фроловна. — Он мне Витьку, внука, напоминает. И та же Манина кандидатша — с фасоном женщина. Повесить такую в кухне — глазу приятно”. Тётю Зою такие аргументы лишь упрочивали в своём выборе. За Зебула она стояла (верней же — сидела — на лавке) стеной. “Это вы всё от зависти. Знаете, что мой-то победит. Не чета вашим... И внешне — не сопляк, не крашенная блондинка. Солидный мужчина, при костюме, при галстук”, — убеждала старуха подруг.

— А ты знаешь, как он на галстук свой заработал? И пайки, и календари, и листовки... Смотри, сколько повсюду бумаги перевели, всё обклеили евоной физиономией, — взъерепенивалась баба Маня.

— А ты больно много знаешь? — парировала тётя Зоя, угрожающе наводя на подругу обе свои крупнокалиберные диоптрии.

— Да уж знаю... Зря говорить не будут. Вон Ленка рассказывала, как он людей со свету за жилплощадь сживал, недвижимость двигал...

— Это какая Ленка?..

— С Мира, Хмарина...

— Хмарина? Нашла кого слушать!.. Ей только помелом своим двигать... И ещё кой чем. Не зря её шпана дразнила “Шмарина”.

— Это ты зря на Ленку языком мелешь. Если б такая она была, в старых девах бы не осталась... — вступилась Фроловна.

— Знаю, чего она осталась, — по Кассетнику сохла, ещё со школы. Да только он в стакане утоп.

— Ох, Зоя, брехнёй занимаешься... — затрясла головой баба Маня. От разговора красный румянец выступил на её беззубых щёчках.

— И не брехнёй... Томка сама мне рассказывала, ещё перед смертью. Ленка к ней приходила как-то на Пасху, с пол-литрой, селёдкой... Плакалась ей и душу свою на столе по поводу сына её раскладывала.

— Не так всё было... Брешешь ты всё, — упрямылась баба Маня. — Нету теперь ни Тamarы, ни Кассетника... то бишь — Лёньки, сына ейного... И нечего зря это ворошить...

— Правда, нечего... — поддержала Фроловна.

Баба Маня близко дружила с упомянутой в разговоре Тамарой. Всем трём это было известно, равно как и то, что Зоя Тамару всегда недолюбливала, испытывая к ней необъяснимую зависть. И ведь тоже вдовица, и сын алкоголик был первостатейный. И мать толком не похоронил, и квартиру профукал, и сам сгинул спустя всего два года после смерти матери. Вроде нечему было завидовать, а и сейчас проступала застарелая зависть в словах тёти Зои.

Тётя Зоя, учуяв реакцию Мани и Фроловны, как ни в чём ни бывало, вернула разговор вояси:

— А твоя Подакцизная?..

— А что моя Подакцизная?

— А то!.. Будто с честной зарплаты своей налоговой домину отгрохала трёхэтажную? Так на паёк не жмись, с людьми делись. Я так понимаю: натискал календари — дари... Так они ж там в налоговой приучены все под себя, другим — ничего...

Зебул — представитель сил силосильных, встречь ему не перечь. Прёт по округу, что каток по асфальту. И верно, и правильно. Такие и надобны, а не тюха с матюхой. Без сомнений, ни упрёка, ни страха. Представительской власти представительный нужен. Форменный депутат. Вона сколько Зебуловы ходки нанесли. Одних только календарей: и настенный четырёхблочный формата А4, с пружинками и передвижным красным квадратиком насущного дня, и настенный формата А3, и карманный, и настольный-перекидной в виде домика. И паёк — ко Дню пожилых людей, и позавчерась — второй, с гречкой, рисом, сахаром, подсолнечным маслом.

Разговоры на лавочке и бессонная ночь накануне тётю Зою так завели, что в итоге подвигли отправиться своим ходом голосовать на участок вместо прежде задуманного, оформленного накануне телефонным звонком посещения квартиры одиноко живущей заслуженной пенсионерки торговли, ветерана труда выездной комиссией с урной.

Не пойдй — не случился б скандал на участке. Добралась еле-еле до школы, опираясь на палку, под грузные мышки влекомая наблюдателем и участниками экзитпола, еле-еле взшла по ступеням крыльца, рукавом отираясь, сидела у стола, пока член участковой комиссии отыскивала её в списках. Тут и случилось: поставила подпись напротив своих фамилии-имени-отчества, взяла уже бюллетень и увидела: “Мочкин Леонид Александрович, 1970 г. р.”, и адрес, и главное — подпись!.. И ведь только что, поутру вспоминали про Тому и несчастного её Кассетника, то есть Мочкина Леонида Александровича, 1970 года рождения. “Что вы... что это вы тут!..” — забормотала, сначала растерянно, но тут же окрепшим голосом закричала: “Что это вы покойника тут пишете?! Не живёт он по этому адресу!.. Не жилец он вообще! Кассетник год, как утоп! В Глином его выловили на ноябрьские. Из милиции приходили! И со мной говорили, и с Маней, и с Фроловной. Что вы пишете мёртвые подписи?!”

Наблюдатели подекочили, будто только и ждали чего-то такого, набежали члены комиссии. Одни угоманивают, другие, наоборот, гомонят, окружают плотным кольцом. В эпицентре — бабка, злостные списки и ответственная избиркомщица. Та, пятнея, лепечет, мол, не надо скандалить, никого, мол, она не писала, мол, пришёл человек и проголосовал, изъявил своё право по закону и конституции. Наблюдатели криком кричат, что, мол,

нечего конституцией прикрывать свои грязные делишки, что, мол, это подлог, чтоб втащить в депутаты кого не следует, а не кто достоин. Избиркомщица, пунцовая, гнёт, однако, своё — избиратель в наличии был: мол, пришёл, показал документ, расписался и законно получил бюллетень. Нашлись и такие, что факт изьявления воли сего избирателя — невзрачного и безвредного — “зуб даю!” — подтвердили.

Тётя Зоя в ответ верещит, под статью горлопанам, что нету такой конституции, чтоб покойникам голосовать и являть свою волю. Дело приняло нештучный оборот. Началось разбирательство, подтвердившее старухину правоту и наличие покойника в избирательных списках. Леонид Александрович Мочкин, действительно, утонул в ноябре прошлого года в Днестре, недалеко от села Глиное, в которое незадолго до того прописался в заброшенный доморазвалуху. Незадолго до этого он выписался из “двушки” по Мира и заключил договор о продаже квартиры новым хозяевам.

Гражданин Мочкин был непросыхающий алкоголик. Причиной его смерти в водах реки, по заключению судмедэкспертов, явилось сильное алкогольное опьянение. Но всё же зачем человеку, пусть и пьющему беспробудно, но по многим привычкам столичному, продавать квартиру пусть в старом, но центре столицы и селиться за тридцать км в сельском сарае? На какую рыбалку, с какими радушными глиноицами мог отправиться Мочкин, если рыбалку отродясь не любил, презрительно именуя её “бычьим кайфом”? И, в конце концов, какого чёрта отправился он месить глинянскую глину, прописался в селе, где не было у него ни родственников, ни друзей, ни знакомых?

Этим вопросам разбирательство внимания не уделило, впрочем, как и год назад, когда свободзейские следователи принялись было заниматься выловленным из реки трупом. По запросу в Парадизовское УВД наводили справки, опрашивали бывших соседей, да толком никто сказать ничего не хотел или не мог, и тем дело и кончилось. Концы всё одно — на дно. Некому было за Кассетника слово замолвить — мать умерла, родных никого, друзья — кто умер, кто спился.

Кассетником Лёньку прозвали в школе. В шестом классе отец купил ему стереофонический кассетный магнитофон. “Романтик-201-стерео” — сбывшееся белое чудо, с которым Лёнька был не в состоянии расстаться ни на минуту, таскал с собой всюду, и на районе — только не дай Бог в дождь или в снег, — и по хате, брал в туалет и ставил на ночь возле подушки. Издаваемые “Романтиком” звуки сплотили вокруг Кассетника кружок вихрастых меломанов. Зачаровывающие, уводящие в баснословную даль, лишь только становилось теплее, они гнали прочь пацанву из душных и скучных классов.

Влекомые “Романтиком” Кассетник, Виталька Патрон, Марик, Стас и Жамбон сбежали с уроков на заброшенное футбольное поле бывшей школы для умственно отсталых, именуемой на районе “дебилкой”, или через забор — в дендропарк, или дальше, на Днестр, в тенистые тополиные поймы. “Романтик” дарил несказанную полноту ощущений. Стоило ли корпеть над учебниками, зубрить слова или цифры, если всё уже — вот, звучит по Кассетникову велению и нажиму на клавишу “вкл.”?

И Ленка Хмарина... И Марик, и Стас, и Виталик Патрон к ней подкапывали, а она всё-таки Кассетника выбрала. И на квартире у Ленки, когда Ленкина мать уехала на день к родственникам в село, их первый раз проишоёл под исторгаемую Лёнькиным магнитофоном песню “Либерта” в исполнении Альбано и Ромины Пауэр.

Лёня был поздним, единственным ребёнком, и родители его баловали. От отца за прогулы и неуспеваемость, спровоцированные “Романтиком”, получал портупей, но больше для формы, чем по содержанию. У матери вовсе не получалось быть с ним строгой. Потому, когда отец умер от инфаркта, наказывать Лёньку стало некому. Как-то вдогонку, вслед за отцом, в перестроечном раже ушла и романтика. Баснословная даль оборачивалась побасёнками.

Магнитофон по наводке Жамбона обменяли на бочку спирта “Рояль”. Замутка была его же — разбавлять кипяченой водой, разливать по бутылкам

из-под местной “Покровской”, которых в сарае Жамбонова бати скопилась тьма, и толкать алкашам.

Разведённый “Рояль” наполнял магнетизмом не хуже каких-нибудь клавиш с магнитной ленты. Стас и Патрон на тот момент служили в армии, и со спиртом мутили втроём — Жамбон, Кассетник и Марик, на троих и соображали, всё чаще с клиентами, тем более что товара было — залейся. А после пошло: Стас после дембеля вступил в ТСО и погиб в июне 1992-го на бендерском мосту. Через год, в ходе пьяного спора по поводу событий 1992-го и степени в них участия, был швайкой заколот Патрон.

Замутка со спиртом к тому времени была безвозвратно забыта. Кассетник и его кенты, Марик и Жаба, днём и ночью изыскивали средства, чтоб скорее отправиться до Нины на точку. Хорошо ещё, Жаба помогал матери, которая работала реализатором в торговом ларьке. Кассетник пять лет протрудился на заводе имени Кирова, пока его не уволили за прогулы и пьянку. Пока ходили на смену вместе со Стасом, работа шла в охотку, а потом Стаса призвали. Марик спецом себе вены поцарапал и лёг в дурку, чтоб от армии откосить. А Кассетник служить хотел. Отец у него всю жизнь прослужил в армии, в запас уволился старшим прапорщиком. Лена тоже была за то, чтоб его призвали, говорила, что будет ждать, и он к ней обязательно вернётся, а так он её потеряет, потому что в пьянке утонет.

Но уйти от пьянки, чтобы вернуться к Ленке, не вышло. Медкомиссия признала призывника Леонида Мочкина, по причине плоскостопия, негодным к строевой службе. Жамбон Кассетника подкалывал, дразнил ихтиандром, которому, мол, при нырянии в Днестр и ласты не нужны.

Кассетник нырять не любил, прохладным журчанием вовне предпочитая вливание огненной жидкости внутрь. Недавно необъятно наполненный и неохватный, внешний мир как-то исподволь сузился до размеров Нинкиной точки. Так, прямо с точки, а не с заглавной буквы, как когда-то выписывал в прописях, начинал Леонид отныне предложение дня. С утра накатить с горкой гранёный стакан вонючей Нинкиной самогонки, притушить внутренний огонь и смазать салазки, как говаривал батя Жамбона. Тогда, после утренней ходки на точку, в натуре, день скользил сам собой, по наклонной.

Весь этот район Парадизовска как бы скатывался в поля, упирившиеся в днестровскую пойму.

И Ленкины, и материны загрузки — надрыв, причитания с уговорами, слёзные мольбы — тогда не рвали сердце, легко скользили мимо, не задевая его сознания, с утра и на весь день погружённого в мгlisto-зелёную зыбь и прохладу, проступавшую на лице такой же мгlistой ухмылкой.

К Нинке надо было спускаться вниз, на Восстания. Шлось под гору, легко, припеваючи. А назад — с трудом и одышкой, которая, чем дальше, тем становилась сильнее. Кассетник, бывало, делился с друзьями, что крен на районе после Нинкиной сивухи по-любому усиливается. Жамбон начинал ухохатываться, а Марик, наоборот, делался хмурый и злобно шипел: “Не грузи! Что ты грузишь? Жаба, он меня грузит!”

Марик уже плотно сидел на системе, кентовался с нариками и цыганами, помогал им толкать шмаль и бодяжить раствор из маковой соломки. Когда его приняли за распространение, на нём уже не было живой вены. Из-за ломки и приступов Марика перевели из СИЗО на больничку, и он хвастался, как ментов обманул и зашарился, а потом через день умер там, на больничке. “Тромб в ноге оторвался и, дойдя до самого сердца, его закупорил”, — так живописал Жамбон.

Жамбон был в курсе, потому что тоже выступал по наркоте и общался с цыганами. Но он молоток, взял себя в руки и с системы соскочил. Вернее, мама сгребла сына в охапку и уехала вместе с ним в Подмосковье на заработки. Он и Кассетника звал к себе в Зеленоград. “Только на билет собери”. Но на билет собрать не получалось. До Нинки получалось, и то не всегда.

С Ленкой Хмариной к этому времени всё закончилось. Она часто и надолго уезжала к родственникам в село, вроде какой-то ухажёр у неё там появился.

Ещё до Кассетника Ленка встречалась с Мариком, недолго, в девятом классе. Была драка с Мариком у школьных турников, за трансформаторной станцией. Марик хорошо дрался и вообще по жизни был дерзким. Он разбил Кассетнику нос и повесил фонари на оба глаза. Но Ленка осталась с Кассетником. На похоронах Марика он ей напомнил, сквозь мглу своей ухмылки стал называть её всякими нехорошими словами. В общем, поругались они окончательно.

Мать умерла, и иссякла надежда на мамину пенсию. Всё, что можно из хаты было вынести, Кассетник загнал. Он и жил уже только ощущением тления труб и невыносимой тягой тление это хоть чуть-чуть загасить. Вместе с Аликом, обитавшим тремя переулками ниже к Днестру, часами слонялись они по району в поисках разнорабочего магарыча и малейшей возможности обусловить поход на Нинину точку. Алик, заспиртованный приколист, напевал нескончаемо и монотонно, как погонщик верблюда в мареве арабской пустыни: “Нинина... Нинину... Нинину... Нинина...”. Из подобного, зноем колеблемого миража, как чёрные всадники, явились риэлторы. Утолив беспримерную жажду Лёни Мочкина, в обмен они замочили его в нистрянскую глину.

И вот должный пребывать в глинойском нутре явился наружу. Претензии тёти Зои можно было бы воспринять как измышления выжившей из ума старушки, но в тот же выборный день на районе некоторые подтвердили, что Кассетника видели. Убедительней прочих выглядело повествование Алика. Пересказывая его на лавочке, уже в темноте, Фроловна принималась креститься, невольно привлекая к совершенно знамения и подружек-старушек, что они с готовностью и делали.

— Так и говорит: “Гляжу: Кассетник, вылитый!..”

— Погодь... Вылитый или он самый?

— Сам Алик вылитый... С утра зеньки залил. Глядит он... В обед его видела. На углу тут... На ногах еле стоял.

— В переулке и встретил. Возле школы в аккурат. Там, где проулок совсем, возле мусорки. И главное, говорит, не удивился ни капельки.

— Ага, ни капельки... Просто капельки свои он уже до того выдул. Вот потом и мерещатся кто ни попадя. Нашла, Фроловна, кого слушать...

— Всё ж не ни попадя... Томы сынок, как-никак... Этот его спрашивает: “Кассетник, ты что ль?..” А тот кивает. “Голосовать, что ль, ходил?” А тот снова — да.

— Так да или да? В смысле, сказал или кивнул?

— Так вот о том Алик и говорит: ни звука тот не проронил за весь разговор.

— Свят... Свят... Вишь, голоса подать не мог.

— Ну, так если, как Зоя говорит, что проголосовал, значит, голос свой и отдал.

— Ну, так и мы голосовали, а вот сидим, говорим.

— Ну, ты, Зинка, сравнила... То — мы, а то... Ох, грехи наши тяжкие... Спаси и помилуй...

— Ну, и куда твой Алик его подевал?

— Да не мой он... Это тот словно немой был. Сам делся. Алик на точку, до Нины шёл, а тот, говорит, дошёл с ним до угла Восстания и после свернул на Курганный, и вниз пошёл...

— Это значит — к Днестру...

— Не знаю, куда... Восвояси...

— Я бы этой Нинке глаза повыщарапала... Сколько народу извела, и ничё ей не делается...

— Ага, сделается ей... У неё, знаешь, какие связи!

— А ты больно знаешь...

— Не знаю, потому и не больно... Ты вот Зебула своего расспроси, он тебе расскажет.

— А чего это он мой? Чего это он расскажет?

— Известно чего... Ты ж за него глотку тут рвала и голосовать ходила.

— А это уж моё дело, за кого голосовать.

— Слышь, бабоньки... А я сегодня Женю возле молочного встретила. Чего она мне рассказывала...

— Это какая Женя?

— Ну, Томкина подруга... Возле парка которая живёт.

— А, Женя... Ну, и чего она рассказывала?

— Рассказывала, Наумовну видела.

— Тьфу, напасть... Так мы ж в апреле на поминках у ней были. Так, Зоя?

— Так... полгода будет вот в октябре...

— Где ж она её видела?

— В парке и видела. А она и не знала, что Наумовна померла. Говорит: “Наумовну видела”.

— Свят, свят... А та?

— А что та? Говорит, далеко шла, аж у памятника Котовскому. А Женя от фонтана под арку, на выход как раз повернула. Ну, и думает: не буду окликать. Наумовна, говорит, нарядная такая, в кофте своей белой, в платке своём пуховом. Женя ещё говорит, подумала: “Вот, Наумовна идёт. Точно на выборы, что так вырядилась”...

— Погоди... в каком пуховом?

— Ну, оренбургский её, любимый её...

— Так вот же он, на плечах. Наумовны платок... Дочка ж ейная за поману его мне дала. На поминках и дала. На память, сказала, о маме...

— Нешто Женьки не было на Наумовны поминках? Врёт она всё...

— Нет, не врёт. Она ж к сыну ездила в Ленинград, почти год там жила, внуков нянчила... Не знала она ничего...

— Ох, бабоньки... Грехи наши тяжкие...

— Свят... Свят... Спаси и помилуй...

### 3. Облако

*Я кланяюсь песнею,  
Как волк — своим воем.  
Охотник его настигает,  
Поднимает ружьё и стреляет.*  
Лэутар Михай Константи́н

Гости покидали Нистрению. Вернее бы было сказать: съезжали с неё, в том смысле, в каком съезжают, например, с дачи. Ведь с какой целью на дачу съезжаются? Как правило, с одной: провести время, предаваясь отдыху и развлечениям. А что может быть благородней и выше цели: *провести* время, то есть его обмануть? В этом возвышенном свете отдых и развлечения превращаются в суперигру, стремление одержать верх в которой принципиально роднило гостей ЦИРКа и дачников.

Итак, гости съезжали с Нистрению. Как *с темы*. Или, как говорят на районе, *слезали с глы*. И пусть не смущает просторечная грамматическая форма этих оборотов. Ведь в самом деле, собственно Нистрению юридически её покидавшие фактически и в глаза не видели, ибо она — сплошь будни, а они были гости праздника, расплескавшегося в безбрежную вертикаль “Моря любви”.

На бал гиперболоида многие из них угодили сходу, сойдя на самую маковку вертолётных площадок с гели- и квадрокоптеров, считай, с трапа; и прочие из высадившихся в ближайших морских и аэропортах, но добравшиеся в ЦИРК по земле, в стремительно-комфортабельном транспорте, тем не менее ничтоже сумняшеся перемахнули через мглистые нистрянские горы, долины и лес.

Мыслями все они уже были в ЦИРКе, и если и глядели по сторонам, то лишь мельком фиксируя усугубление мглы по ту сторону тонированного стекла мега-комфортабельного салона, исполненного мягкого света и музыки, и такими же, вкрадчивыми, будоражащими предвкушением голосами проводниц.

Намёк на смущение в данном случае в принципе исключался — таков был вкрадчиво-скромный, но бесценный дар принимающей стороны, адресованный каждому посетителю ЦИРКа.

Гость желает развлечься и отдохнуть, короче, оторваться по полной, так, чтобы захватило дух и кругом пошла голова. ЦИРК за это берётся, с лихвой обеспечивая искомый отрыв от времени и пространства и ум помрачающее головокружение, причём на самом высоком уровне семи своих небо-ярусов.

Всё, что происходит в ЦИРКе, сполна достаётся восхищённому гостю. Взамен, от безмерных щедрот, ЦИРК берёт скромную плату: восхищает тень смущения, избавляет каждого дорогого пользователя (а дешёвые исключались в силу самого принципа взимания скромной платы за посещение мега-башни) от бремени, с которым он сюда пожаловал: от тени смущения и сомнений.

Возвышенный ЦИРК столь исполнен света, мегабольшие и мало-мальские помещения каждого небо-яруса так хитро осиянны, что внутри гиперболоида ни предметы, ни охрана, ни обслуживающий персонал, ни, в первую и в последнюю очередь, пользователи — никто не отбрасывал тени.

Тени нет, с какой стороны ни взгляни, с какой стороны ни прочти.

Тени нет. Будто она угодила в тенёта, ускользнувшие от расширенных зрачков сонмов восхищённых пользователей, будто её чудесным образом раз и на миллион лет вперёд впитали источники света, которыми без числа и без счёта декорирована обстановка “Моря любви”.

Осиянность гиперболоида была удивительно сбалансирована: неизбывный поток электричества пропитывал каждую пору и грань крайним хай-теком убранного нутра и того, кто в нём пребывал. Этот свет, неизбывный, не резал глаза, но застил очи.

Не следует думать, что съезжались гости отяжелёнными балластом забот и закомплексованности, а съезжали якобы налегке.

Правильнее сказать, каждый покидавший пределы безбрежного “Моря любви”, находился *под впечатлением*, что предполагало наличие у пользователя, вернее же — по-над ним, некоего отныне довлеющего намерения, однако не только не скрывавшего его помыслов и поступков, а наоборот, превращённого в осознание своего полновластного права впредь соотносить свои поступки исключительно с собственными помыслами, иначе говоря, поступать, как вздумается.

“Море любви”, провозглашённое территорией творчества, в действительности таковой оказалось. Пользователь, переступая незримую, утопшую в океане света грань ЦИРКа, становился на путь, с которого нельзя было свернуть и по которому невозможно было вернуться. Под чуткой опекой проводниц он устремлялся к преобразению, возводился на пьедестал в перекрестье тысяч софитов гиперболоида, на стационарной оси и мобильных, смонтированных на квадрокоптерах, оснащённых сенсорными датчиками и телекамерами. Бесшумные, вездесущие, но не назойливые, ни капли не раздражающие, они осуществляли неназойливую трансляцию, роясь повсюду микроскопическими рачками, скрадываемыми плеском солнечных волн.

Питательный криль всеместной трансляции сам питался, без передышки на сон, отправление нужд и надобностей, ибо отдых, бодрствование и сон, отправление нужд и надобностей как раз и являлись пищей для прожорливых светляков.

Мириады микроскопических телекамер питались контентом, который производили пользователи. Пищевая цепочка, изящная, как ветви гиперболоида, безотказная, как электрорецепторы белой акулы, формировала суть преобразующей силы ЦИРКа: пользователь в одночасье и на миллион лет вперёд сбрасывал привычную для себя, но, как открывалось, чуждую личину потребителя, обретая подлинный, но до сего счастливого мига таившийся под спудом сознания облик производителя.

Пользователь покидал зрительный зал, обращаясь в артиста, поднимающегося на авансцену бытия, не прикладывая для этого практически никаких усилий, толкаемый лишь инерцией своих самых заветных чаяний.

“Море любви” безгранично, ибо это пространство без стен. Надобность в переборках отпадает сама собой, и сознание пользователя ЦИРКа лишается их как отныне и на миллион лет вперёд ненужного рудимента.



Нет стен — нет и тени, преград для инерции движения по пути слияния с безбрежным морем коллективного сознательного; говоря же языком IT-специалистов ЦИРКа, “Море любви” — производство контента. Впрочем, возможности языка в воплощении этой мегазадачи, оказывались слишком скудны, а следовательно, препятствием, потому лакомой сутью трансляции являлось обращение напрямую к зрительным образам, к зримому как первообразу человеческой меры, которая, как известно, суть то же самое, что и мера горная.

Пребывание в залитом светом нутре ЦИРКа словно бы рассекало свежим ветром разительных перемен пользовательскую грудную клетку. В разъятую клетку, взамен вынутых трепетных духа и сердца, вмещалось огромное солнце.

Магическая манипуляция с равным успехом производилась над каждым из пользователей, вне зависимости от возраста, пола, цвета кожи, набора привычек, комплексов и пристрастий.

Под *впечатлениями* пользователя подразумевались не только живые и яркие картины — зримые свидетельства о проведённом в ЦИРКе (сиречь обведённом вокруг пальца) времени, но и буквальное исполнение заветных желаний — “сбыча мечт”, впечатанная в подсознание небывальными и отныне незабываемыми обретенными для всех пяти чувств, суммирующих знаменатель чувству шестому.

В VIP-случаях судьбоносные обретенные сопровождалась обновлёнными суммами на банковских чеках для гостя или на его банковском счету или заключёнными в ЦИРКе под эгидой его устроителей соглашениями, договорами и контрактами, чреватых обоюдной, для гостя же — изобильной выгодой. Иначе говоря, покидали нистрянские поймы затаренными кто во что горазд, но неизменно — с солнцем в авоське, под завязку, кто сколько мог унести.

В немалой степени *под впечатление* пользователи церемонии открытия ЦИРКа оказались подведены концертом Наф-Наф Доги, приуроченным к презентации его “Ласкового и нежного зверя”. Действо, увенчавшееся присвоением автору-исполнителю титула Господаря Всенистрианского Празднества, поголовно повергло в шок и трепет, в нокдаун восторга аудиторию концерт-холла “Zebularium-CIRC”, вне учёта наличия или отсутствия у зрителей банковских счетов, словно судорогой, свело к общему знаменателю восхищённой контузии ударом оглушительно мощной стихии по имени “МС Наф-Наф Дога”.

А ведь появления тайфуна разрушительной силы в пределах акватории “Моря любви” ничто не предвещало. Был, конечно, подогретый анонсами и шумихой в прессе ажиотаж вокруг намеченной в рамках церемонии открытия ЦИРКа презентации дебютного альбома молодого исполнителя. Но людская молва, как морская волна, омывала это предвестие завистливой жёлчью: дескать, папаша-миллиардер, да к тому же владетель непризнанных акваторий, волен потакать прихотям папина сына, сопляка, который с детства катался в жирном нистрянском чернозёме, как сыр в масле, и, дескать, поэтому начал петь рэп, пытаясь копировать, как та обезьянка Чи-чи-чи, бормотание черномазых, что, дескать, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось, что потому, мол, и рэп, что эта заморская блажь и не пение вовсе, и выбран специально, чтобы скрыть у горе-певца отсутствие слуха, которому, мол, медведь в младенчестве на ухо наступил, да к тому же не только на ухо, а ещё на лице потоптался, потому, мол, тот лицо своё, в реальности — уродливую харю, и прячет, и так далее, и т. п.

Да, “злые языки страшнее пистолета”, даже того убойного, гангста-рэперского, от которого в лихие 90-е на улицах Вегаса пал смертью храбрых бесстрашный острослов, афроамериканский гусар-поэт Тупак Шакур, в тот самый день, вернее, в ту ночь, когда его закадычный друг, великий и ужасный дуэлянт и брэтёр Майк Тайсон дрался на поединке в “Большом саду MGM” Лас-Вегаса.

Как водится, сей с цепи сорвавшийся хор вовсе игнорировал последовательное позиционирование Наф-Наф Догой собственного авторско-исполни-

тельского стиля и мировоззрения исключительно в рамках речитатива. Выказывая безмерное уважение и безграничный пиетет в отношении рэпа в целом и столпотворящего творчества наиболее ярких его представителей, творец “джентльбиста” не уставал проводить водораздел между заморской и нистрянской традициями, первая из которых восходила к ямайским диджеям, а вторая — к сатирам Антиоха Кантемира.

Впрочем, по прозорливой мысли Наф-Наф Доги, разделение это всё равно сводилось на нет в пучине времён и пространств, приводилось к общему знаменателю, ибо солнцем русской поэзии воссиял не кто иной, как имевший эфиопские корни белый арап, он же бес арапский, к Бессарабии же, как известно, прямое отношение имел Кантемир, а к Эфиопии и светочу православия — солнце ямайской поэзии Боб Марли, а вслед ему — звезда гангста-рэпа Снуп Дог, и свершилось по заповеданному прозорливцем: эфиоп крестился и оделся белым.

Но мысли эти, изречённые нистрянским читчиком, для всеильнейшего средостения — наполнителей прайм-тайм и полос таблоидов с потребителями контента — были, как камень в болото: брось и — канет втуне и безвозвратно. Чёрнь каркала, как и присно: чёрного кобеля не отмоешь добела.

Вокруг автора “Ласкового и нежного зверя” отравленные пули злоречия роились всё гуще по мере того, как всё ближе становился день открытия ЦИРКа и приуроченных к нему презентации дебютного альбома Наф-Наф Доги и его возведения в титул МС неизбежного праздника.

Даже и выборы в непризнанной, но непокорённой Нистрени на фоне нарастающей истерии ушли в тень, прошли эпизодом, почти не привлекая внимания малозначимым штрихом истории. Впрочем, за волеизъявлением нистрянского электората наблюдали и представители профильных международных, в том числе ООНовских, и неправительственных европейских организаций, не менее профильные представители российской Госдумы, абхазского народного собрания, юго-осетинского Ныхаса, северо-ирландского Эряхтаса, германского бундестага и итальянского Parlamento, по итогам признавшие, что победу, несмотря на наличие конкурентов, безоговорочно, в профиль и в фас, одержал Зебул, тем самым ознаменовав заход на второй срок самовластного правления.

После этого чистосердечного признания международные наблюдатели безоговорочно, как по мановению, перешли в дипломатический ранг избранных дорогих гостей “Моря любви”, с головой окунувшись в предпраздничную атмосферу ЦИРКа, обильно сдобренную фейерверком скандалов, интриг, шокирующих разоблачений.

Масла в огонь, и без того бушевавший в пространстве масс-медиа, подобно таёжному лесному пожару или негасимому столпу электричества ЦИРКа, подлил новый виток публичного противостояния, с одной стороны, осенённого сединами и всемирной славой маэстро Еужениу Доги и, с другой — зарвавшегося сопливого выскочки, отпрыска всеильного богатея, папина сына, бесстыжего мажора, который, надо признать, совсем не случайно осмеливается попирать сцену в маске озверевшего пяточка, не имея за душой ничего святого, кроме папиных денег и власти, возмев наглость присвоить по собственной прихоти не только нетленный шедевр маэстро, но даже и его фамилию.

В последнее время, особенно в ходе недели, непосредственно предшествовавшей презентации альбома Наф-Наф Доги “Gentlebeast”, в медиа-пространстве акценты по адресу юного исполнителя нистрянского речитатива стали стремительно смещаться в негативную сторону, набухая грозовой тучей откровенной враждебности.

Немало способствовала этому череда серийной волной прошедших интервью и телеэфиров с автором нетленного киноальфа, в ходе которых пожилой маэстро Еужениу (что в переводе с молдавского указывало подкупающе прямо: “Я — гений!”), с саднящей в надтреснутом голосе нотой сокрушённо-старческой жалобы, с крупными планами седых прядей, в беспорядке налипших на покрытые потом попранной справедливости виски и светлый композиторский лоб, одним своим миоритическим видом внушал стремление

заступить за беззащитного вдохновенного старика, заслонить его от бессовестных хищников, рейдеров вдохновения, осоловевших от безнаказанной наглости власти и денег.

Ситуацию, мягко говоря, неприятную, а сказать по правде — всерьёз угрожающую не только репутации нистрянского певца, только-только возмнившего своим альбомом сделать первый шаг в прекрасный и яростный мир исполнительского искусства и поп-индустрии, усугубляло и то, что контраргументы Наф-Наф Дога в этом, выданном его оппонентом, промежутке гиперактивного наступления, были практически сведены на “нет”.

Наф-Наф Дога не только не отвечал на удары, буквально валом обрушившиеся на него из всевозможных электронных и бумажных СМИ, но даже и не защищался. Массированная кампания рекламы дебютного альбома и сингла “Ласковый и нежный зверь” не сбавляла темпов и лишь нарастала, но сам Наф-Наф Дога на экранах телевизоров, мониторов и гаджетов не появлялся и разгорающийся по поводу киновальса конфликт не комментировал.

Все силы и всё своё время, которое, как известно, у него вовсе отсутствовало, певец уделял подготовке к предстоящему мегатуру, а точнее — к его старту, призванному ознаменовать презентацию ЦИРКа. И готовился Наф-Наф Дога на свой манер, как к бою за титул чемпиона мира по версии ММА, проводя интенсивные тренировки в собственном мегаспортезале на седьмом небо-ярусе ЦИРКа, выезжал спарринговать в бойцовские клубы Грозного, Подмоскovie, Дублина, Лос-Анджелеса, Сан-Паулу.

Облако в реали-режиме вело трансляции того, как Наф-Наф Дога сгонял по семь потов на тренировках.

В числе консультантов спортивно-бойцовских порывов юного исполнителя журналистами упоминались прославленные имена, великие чемпионы октагона и ринга, участие которых, по мнению дотошных репортеров, якобы обуславливалось весомым финансовым участием папаша Зебула в работе Абсолютного бойцовского чемпионата и личной его дружбой с руководителем UFC Даной Уайтом.

Но кому только не приписывали дружбу Зебула? Досужие хроникёры доболтались уже до того, что правитель Нистрени и, по совместительству, владелец ЦИРКа якобы входит в число не кого-нибудь, а двенадцати друзей Оушена, и что даже способствовал мегасделке по перепродаже бренда текилы Джорджа Клуни “Casamigos”, совершение которой превратило талантливого американского артиста и начинающего бизнесмена в миллиардера.

Правда, на полях “жареных” новостей мелким почерком уточнялось, что дружил Зебул вовсе не с голливудской звездой, а с его партнёром по текиловому бизнесу Майком Мелдманом, по совместительству девелопером, и дружба его с Зебулом как раз базировалась на сотрудничестве в сфере недвижимости в ряде строительных мегапроектов в Москве, Нью-Йорке и, главным образом, в Силиконовой долине, куда финансовыми структурами, аффилированными с хедж-фондом, контролируемым Зебулом, якобы направлялся значительный венчурный капитал\*.

---

\* Захватывающие сюжеты на данную тему, озвученные в различных СМИ и призванные внести ясность в непрозрачные денежные схемы, наоборот, рождали сущую путаницу. К примеру, русскоязычный “Форбс” в дотошной журналистской попытке отследить сложный маршрут движения капитала, соотносимо со структурами, аффилированными с хедж-фондом, контролируемым структурами, доли в которых имеют акционеры, имеющие отношение к Зебулу, конечной станцией этого кремнистого пути указывал Силиконовую долину — Silicon Valley, подразумевая калифорнийскую Кремниевую долину, в то время, как американский “Forbes” в публикации на эту же тему итоговой реперной точкой подспудного хода мутных финансовых потоков называл Силиконовую долину, подразумевая, однако совсем другую калифорнийскую местность — SiliconValley, прославившуюся производством не сверхпроводников, а имплантантов для пластической хирургии и порнофильмов. Впрочем, заголовки первых полос, типа: “Ведёт ли кремнистый путь в Кремниевую долину?” — при всём внешнем эффекте, оказывались малоэффективны в поисках ответов на волнующие журналистских исследователей вопросы, а посему — исполнены пустой риторикой. Следует признать, что усугублению каши в головах легавых борзописцев способствовала слуховая абберация восприятия русским сознанием двух совершенно разных слов: “silicon”, что по-английски означает “кремний”, и “silicone”, означающее “силикон”, материал для искусственного увеличения сисек.

Мелкий шрифт никто разбирать не удосуживался, и вхождение хозяина ЦИРКа в круг друзей Оушена — в глазах миллионов не менее легендарный, чем круг рыцарей короля Артура, — стараниями шелкопёров-фантазёров было закреплено за Зебулом в его коллекции атрибутов всевластия.

Между тем, в конфликте между Зебулом-младшим и маэстро Догой, разросшемся до вселенских масштабов российских федеральных телеканалов и эфиров прайм-тайм, всеисилье отца мало чем помогало и даже выходило сынишке боком.

Сторона создателя нетленного киновальса, умудрённого многолетним стажем служения искусству и нашедшего поддержку не только широкой аудитории, но и ряда влиятельных медийных персон, восприняла это как показатель шаткой позиции нистрянского выскочки и всерьёз обсуждала подачу многомиллионного — в долларах — иска в ходе судебного разбирательства, которое, увенчавшись неременным торжеством правосудия, нацеливалось восстановить по отношению к прославленному композитору высшую справедливость и преподать наглядный, всесветный урок, чтобы другим неповадно было даже в мыслях холить попытку попрапия пусть и пожилого, но в своей вдохновенности не подвластного тлению гения.

Каковы же оказались шок и трепет сотен представителей масс-медиа, массы селебритиз, до отказа набившей огромный концерт-холл “Zebularium-CIRC”, когда из глубины сцены, погружённой в таинственную иссиня-пурпурную полумглу, направленный свет софитов внезапно вывел к многотысячной публике не кого-нибудь, а непревзойдённого короля вальса Еужениу Догу, сопровождаемого не кем иным, как господарём мегавечеринки Наф-Наф Догой!

Исполнитель сказал речь, краткую, но исполненную пиетета и почтения к седовласому маэстро, отметив величие “Ласкового и нежного зверя”, воплощающего в себе образ и подобие величия его создателя, и свою скромную миссию, возымевшую целью лишь придать этому мега-образу зримые черты, исполнить его.

Чудесное замирение непримиримых врагов, явленное на сцене в столь наглядном образе добротолубия, произвело на публику неизгладимое впечатление.

А тут сходу начался концерт. Выступление открыла заглавная композиция альбома, причём “Gentlebeast” исполнялся в сопровождении оркестра симфонической музыки, которым дирижировал собственноручно пожилой маэстро. И если в начале действия домнул Еужениу вёл себя несколько скованно, больше отмалчивался, пока Наф-Наф Дога толкал речь, и весь его облик выражал весомую долю растерянности, то во время исполнения композитор преобразился, буквально воспарив буревестником среди заходивших по залу тремя четвертями штормовых валов родной ему симфонической стихии.

“GentleBeast”, произведение, превратившее доходчивую простоту с омутами подтекста, мерцанием метафоричности, способной потрафить гурманам поэтических изысков, погрузило зал в причудливый мир нежной ласки и зверства, умноженный силой воображения и таланта исполнителя, умопомрачительными сценическими спецэффектами.

*Откормлю свинью, назову её Машкой,  
Буду холить и лелеять, а после  
суну швайку под левую ляжку.  
Подло? Назовёшь меня гадом?  
Но кровяной и салом будешь потчеваться рядом.  
Вкусный подчерёвок моей Машки-Марии?  
Так не надо вить верёвок вокруг моей выи.  
Чермное чрево! Смачная свинья!  
Свою вину смываю я, смываю я,  
красным вином смываю я.  
Моя свинья заходит в дом.  
Свинья заходит в каждый дом.  
Обзовёшь меня гадом?*

*Избушка на свиных копытцах, стань к лесу передом,  
Ко мне — задом.  
Дом обернётся атомным адом.  
Ну, и кто ты после этого? Полный рот немоты?  
Я тебе подскажу: гад же ты! Гад же ты!*

Пространство сцены, границы которой стёрлись, войдя в диффузию с залом, заполнили танцовщицы. Фосфоресцирующие лоскуты поверх идеально сложенных тел подразумевали сходящий на нет минимализм костюмов. Их движения, выверенные по ритму композиции, становились всё стремительней и чувственней, схлопывались в группы и рассеивались, чтобы тут же, не упуская ритма, создать новую сумму, более массовую и откровенную. Танец слаживания набухал неистовством, в такт бухающей из динамиков песне:

*Воинство свинства, животворное животное!  
Потерпи, сейчас дам тебе рвотное,  
Будешь бляеть, будешь блевать,  
А я буду:  
vine-vino, виня вино, алкать и имать...  
Емлю, емля, ля-ля...  
На... на... на... на...*

Хриплым стоном замиравший на губах Наф-Наф Доги финальный звук “Ласкового и нежного зверя” увенчался итоговой суммой: танцовщицы обложили его по кругу, пирамидально сгрудились, словно погрязли в хореографическом забытии, с тяжело вздымавшимися и опадавшими грудями, залитые потом самозабвенного старания, исполненные волей исполнителя, полностью отдавшие себя танцу, словно одалиски, готовые умереть за своего господина. Песня скрывалась где-то за горизонтом восприятия, откуда доносилось затихающим отголоском:

*На Днестре пасутся овцы.  
Приднестровцы, приднестровцы...*

Зал ещё трепетал, оправляясь после чувственной бури, а “Джентльбиста” сменила следующая композиция — “Добрый чел”.

В манере скучающего хроникёра, переданной с замечательным артистизмом, одними голосовыми модуляциями, Наф-Наф Дога поведал байопик-историю Добермана, налогового инспектора по имени Карл. В свободное от налогов и сборов время, подобно папе Карло, он создавал своего Буратино: величественного пса, породу с гордым благородным экстерьером.

“Доберман — добрый мэн, Доберман — добрый чел”, — начитывал Наф-Наф Дога, разворачивая повествование о том, что Буратино вечно совал свой длинный нос, куда не надо. Он страдал любопытством: “spoory”, в переводе с английского. Снупи — так звали собачку доктора, милого дуррашливого спаниеля, который убежал на болота и стал жертвой собаки Баскервильей.

*Дог слопал Снупи, и сам теперь не рад.  
Не ходи на болота, ибо из топи — блат!*

В этот момент в иссиня-пурпурной, клубящейся глубине то ли сцены, то ли самого бытия возник тупой клин вытянутого носа и лба, затем целиком лицо — высушенное марихуаной, красноватой белизной глазных белков оттеняющее чёрно-коричневый, чепрачный цвет кожи, обликом очень похожее на морду добермана.

“Снуп Дог!” — опознав явившегося, хором выдохнул зал. Да, это был он — великий и ужасный король блатного рэпа, МС западного побережья североамериканских штатов.

Крёстный отец Наф-Наф Доги сходу, словно бы представляясь, подхватил мотив звучащей музыки и в такт пропел: “Snoor Dog, Snoor Dog...”

Прямое online включение из Лос-Анжелеса было в тютельку состыковано по хронометражу и смыслу песни, и аудитория не сразу сообразила, что Снуп Дог, находясь на сцене рядом с Наф-Наф Доггой, в то же время отстоит от ЦИРКа на 10 414 километров. Впрочем, эффект 3D мега-проекции создавал впечатление, что пространства Евразии и Северной Америки, пучины Атлантики, разделяющие Нистрению и Лос-Анджелес, вовсе отсутствуют, и Снуп Дог действительно в ЦИРКе.

Не сбавляя темпа, Наф-Наф Дога атаковал его в духе бойца ММА:

*Эй, Snoor Dog, как поживаешь?  
Заплати налоги и спи спокойно,  
Сердце папы Карло должно быть довольно.  
Снупи любопытен, как Буратино.  
Кому по зубам  
стоеросовая древесина?  
Собаке Баскервилей? Вот незадача:  
На Гримпенской трясине опять недостача.  
Дог слопал Снупи, и сам теперь не рад.  
Не ходи на болота, ибо из топи — бла!*

По мановению руки маэстро Еужениу Доги из-под смычков контрабасов и альтов, затем скрипок и виолончелей, из-под неуловимо-нежных пальчиков арфисток надсадно возникли две музыкальные темы — тревожно-щемящий мотив маэстро Дашкевича из кинофильма “Собака Баскервилей” и зовуще-щемящий мотив маэстро Рыбникова из кинофильма “Золотой ключик”.

Обе темы, виртуозно аранжированные в лад с электронно-жестокими низами хип-хоп-ритма, намертво защемили аудиторию в тисках эмоций и аффектации. В этот момент зрительный зал и многомиллионная аудитория прямой трансляции с замиранием единого на всех мегасердца внимали безграничным возможностям технического оснащения сцены.

Налитый золотом и пурпуром луч выхватил Наф-Наф Догу в самом центре зрительного зала, неизвестно как там оказавшегося. Виртуозно сменив стихотворный регистр на прозу, он произнёс, широким жестом правой руки как бы распространяя своё обращение на 360 градусов: “Если рассудок и жизнь дороги вам — держитесь подальше от торфяных болот!” После паузы исполнитель добавил: “В ночную пору силы зла властвуют на болотах безраздельно!”

Зал погрузился во тьму. Из мерцающей зёрнами света оркестровой пучины ввысь вознеслись маэстро Дога и покорный малейшему трепету его дирижёрской палочки коллектив виртуозов, сведённый из числа Парадизовского симфонического оркестра, а также Академического оркестра Московской филармонии, Нью-Йоркского и Венского симфонического оркестров.

Волей дирижёра и, как уточняли, по ненавязчивой просьбе самого Зебула, распределённые по принципу американской рассадки, музыканты воспаряли на скрипично-арфических крыльях всё выше и выше над задравшими головы зрителями, словно бы восходя с каждым пассажем на новый небо-ярус.

Пространственный фон последовательно перестраивался в куб, потом в пирамиду, потом в сферу. За восхождением, сопровождаемым преображением зала, следил Снуп Дог. Теперь он занимал место господара сцены, в почтении уступленное ретировавшимся к зрителям Наф-Наф Доггой, с предупредительным молчанием внимал тирадам своего крестника, мерно покачивая головой в такт музыке.

После проигрыша, когда виртуозы маэстро, казалось, достигли наверх, крёстный отец Наф-Наф Доги, словно опытный боец, выждав нужный момент, вдруг ответил:

*Чёрное тело, чёрные дела,  
 Чёрная душонка  
 выгорела дотла.  
 Таков был я — рылом и нутром эфиоп,  
 В чёрной топи по маковку утоп.  
 Но чудо свершилось, всегда помни это:  
 Эфиоп облачился в одежды света.  
 Животное рыло — ликом в калашный ряд...  
 Вкусна тушёнка из Снупа?  
 Жри,  
 свершай обряд!  
 Господарь чел Бун, МС, будь добрый чел,  
 Так тебе, щенок, доберман повелел.*

Наф-Наф Дога не давал слушателям продохнуть: не отправлял зрителей в полную отключку, но умело, как настоящий МС, балансировал на грани полного отрубца аудитории и коллективно-полусознательной эйфории.

“Тирас впадает в Чёрное море”, — выдохнул певец и тут же в виде речитатива, прошитого синлабическими стежками парных рифм, схожих в ритмике с накаत्याвающим в районе Ново-Дофиновки морским прибоем, объявил посвящение рэперу-шансонье Тупаку Шакуру.

По всему залу, облачённому в сферу, словно поминальные огоньки, вспыхнули и пришли в движение маленькие изображения легендарного гарлемского воина улиц и жигана чёрных кварталов, аватарки, заимствованные из его прижизненных документальных видео и фото. Визуальные проекции принялись расти, причудливо переплетаясь с электронной 3D анимацией и голограммами, но вдруг словно увязли в безрадостно-унылом виде болотной трясины.

Угрожающе-тревожный ландшафт обступал зрителей, вызывая панический ропот, который нарастал по мере усугубления топи. Резко смолкла, словно оборвалась, звучащая из мегадинамиков прелюдия — попури, искусно составленное из мелодий наиболее известных песен — как бы искусно ошкуренных хитов Шакура.

Пауза набухла тревогой и ропотом, и тут золотисто-пурпурный луч выхватил Наф-Наф Догу, вновь воцарившегося на сцене. В тот же миг по его еле заметному знаку маэстро Еужениу с готовностью, в восторженном раже взмахнул дирижёрскими палочками. Иссиня-пурпурная хлябь в глубине сцены разверзлась мгlistо-зелёным потоком. Волна, не отличимая от настоящей, смывая трясины, накрыла зрителей. Зал наводнили возгласы восторга и ужаса, некоторые в зале повскакали с мест.

Мгlistо-зелёный поток выносил из непроглядной глубины сцены горящие проекции, свёрнутые в семиаршинные свитки, напоминавшие брёвна лесосплава. Качаясь на поверхности вод, над задранными головами, они сошлись в огненные буквы: Тирас.

Польхающий бревенчатый плот, обозначавший одновременно кириллическое “Тирас” и латинское “Tiras”, заиллился изумрудным мерцанием, превратившись в галлюцинирующий мегапортрет легендарного рэпера. И тут Наф-Наф Дога запел, будто принялся играючи раскачивать неподъёмный язык царь-колокола, до краёв наполняя черепные коробки и глубины подсознания умопомрачительным гулом:

*Как на бледном кружаке  
 С автоматом в бардаке,  
 Тонированном во тьму,  
 Мы поехали к реке...*

“Толпа тупа, Тупак! Толпа тупа!..” — неистово бросал в зал Наф-Наф Дога, и толпа, завывая от восторга, с жадностью хватала эти обглоданные кости осмеяния, самозабвенно подпевая.

*Тирас качал мою колыбель.  
Золотом вьётся змея-канитель.  
Зыбку в зубах убаюкал балагур,  
Парная рифма:*

*тоамна де аур.  
Осень — обóлденно медный пятак,  
Траур — на очи...  
Так твою растак!*

*Днестр впадает в Чёрное море.  
Там, на просторе, чермное горе.  
Уличным руслом стань, прореки  
Голос реки, голос реки.  
Удар за ударом: в печень, в пятак.  
Тирас — Тупак, Тирас — Тупак.  
Песня свежёвана — мясо парное:  
Чёрное море, чермное горе.  
Парные рифмы, так твою растак.  
Тирас — Тирас, Тирас — Тирас.*

По ходу звучания посвящённой Тупаку Шакуру композиции из Калифорнии снова включился Снуп Дог, который вместе с Наф-Наф Догой лирически отступил от утяжелённо-хард-рокового лейтмотива темы:

*Между Чёрным и Чермным морями,  
От полей Галилеи до Гарлема,  
до Москвы, до Майами  
Волчковским шпагатом блазнится  
Вавилонская стерва-блудница.*

Озвученный образ заполнил пространство зала плотью танцовщиц, умножаемой и одновременно собираемой воедино ритмичным извивом хореографии.

Песня уходила, как вода сходит в половодье, оставляя следы разрушительной стихии, — в ступор и смятение чувств поверженных зрителей.

Наф-Наф Дога, словно выказывая знаки сурового, но спасительного милосердия, в виде коды продолжал по нисходящей забрасывать ряды риторическими вопросами:

*Вот он, Тупак Шакур, гарлемский витязь в шкуре чёрной пантеры...  
Куда река времён несёт его в своём стремленьи?  
К устью, где ему уготованы мегачин и участь архистратига стихий Чорномора?*

*Или, наоборот, к истоку, где встретят его иные военачальники и борцы за свободу — Тупак Амар Второй и его божественный прапрапрадедушка-тёзка?*

*Случайно ли последний правитель инков был жрец и хранитель тела своего отца?*

*Спасся бы он от погони испанских псов, шедших по царскому следу, если бы вместе с женой и малолетним сыном не поплыл на лодке вниз по реке?*

В маковой, иссиня-чермной бездне сцены и зала, как в нутре ультрасовременного планетария, прокатились причудливые разливы светящихся всполохов. Голос Наф-Наф Доги обрёл эпическое спокойствие созерцателя, гипнотически услаждающего аудиторию, и без того очарованную масштабными галлюцинациями звёздных зорь:

*О чём говорил поэт, говоря: нет позора в необходимом бегстве?  
Если бегство — спасение, то не зазорно ли остаться в родном городе,  
когда тот осаждён взятым в кольцо потоком перегороженной реки?*



Римский император угодил в зазор: к персам в плен, вместе со всем своим войском.

Его заставляли наклоняться и подставлять свою спину царю Шапуру, когда тот садился на коня.

Судьба сполна наказала его за самонадеянность: персы казнили цезаря, содрав с него кожу.

Не за то ли, что тот в числе прочих пленных римлян не выказал должного рвения при строительстве дамбы?

Или его спина оказалась недостаточно основательной для подмётки царского сапога?

Царь царей, шахиншах Ирана-и-не-Ирана Шапур собственноручно начертал план плотины, призванной перегородить реку и объять в кольцо город.

Царь царей уготовил городу корчи от удущения — как единому телу, уготованному к уничтожению.

На торжестве по случаю падения города придворный пророк преподнёс повелителю книгу “Шапуракан” — воистину, императорский дар, соты мудрости, облечённые в ризы кожаны небывало искусной выделки.

Не есть ли созвучие имён Шакур и Шапур — подобие той древней игры слов и смыслов, которая роднит свет и кожу, в равной, облачной степени облачая героя в ризы кожаны и белые ризы славы — одежды царя, врача и пророка?

Из всполохов, звёздная пыль которых рассеивалась по залу подобно мерцающему дыму, возник Снуп Дог. Он держал вытянутые вперёд руки, словно встречал хлебом-солью, только на обращённых кверху ладонях вместо каравая на рушнике у него покоилась книга. Наф-Наф Дога посреди пурпурного всполоха принял книгу и поднял над головой, демонстрируя её залу, как олимпийскую медаль или чемпионский пояс, только-только завоеванный на ринге, ещё скользком от кровавого пота.

*Витязь в шкуре чёрной пантеры пал, как шахиншах.*

*После кремации с анашой смешали его прах.*

*Тирас впадает в Чёрное море,*

*Вольная вода смывает*

*чёрное горе.*

*Он воскурился, он воспарил*

*Выше светил, выше светил,*

*Там все вопросы впадают в ответы.*

*Эфиоп крестился и оделся светом.*

*Траурный план выдыхал и Снуп Дог.*

*Снуп Дог — ты God Father. Снуп Дог — God Father...*

*Дог — God... God — Дог...*

*Тебе дадут до года... До года...*

*Ад? Ого! Да!*

*Ад? Ого! Да!*

*Дог — God...*

После звучали другие композиции с дебютного альбома: запредельно negotчивая “Реальная Анна” и жестоковыйный “Гад же ты...”, подчинивший себе под ветхую длань и добро, и зло олдбой-мухой “Черномор” и “Тень отца Гамлета исчезает в полдень”, вскипающий благородной отвагой “Последний бой старлея Хархалупа”. Каждая являлась девятым валом, ходила по залу посланницей океана, незримо, но яро вздымавшегося во мгле задника сцены.

А потом “Зебулариум”, на глазах изумлённых пользователей, преобразился в амфитеатр, по всему окоёму объятый водной стихией, владычеством океанских, морских, речных и озёрных созданий.

Началось венчающее церемонию эпохальное интервью Наф-Наф Доги. Аккредитованные в пресс-центре Валя-Зебулуй и размещённые там же в фешенебельных номерах журналисты, гости мероприятия ещё не успели

заполнить воронкообразный, едва заметно вращающийся многотысячный амфитеатр, как свет погас, и в центре зала, словно на цирковой арене, возникла лазурная, подобная небу субстанция в форме цилиндра, окружностью основания и вершины равная трём цирковым аренам и высотой около шести метров.

Свет субстанции загустел до синевы. Сама она, сохраняя прозрачность, стала вздыматься, как единое целое, пока не замерла на возвышении, словно на некоем пьедестале, погружённом во тьму, как и зрительный зал, подсвечиваемый бликами экранов смартфонов. В кристальной прозрачности откуда-то снизу или вообще ниоткуда вдруг возникла акула. Её туша, белобрюхая, с серыми боками и синевато-коричневой спиной, зависла в синеве, и эта хрупкая, на миг зафиксированная невесомость усилила впечатление её огромности.

Оторопь шумной волной водоворота пошла по залу, но тут же стихла, расщепившись на отдельные громогласные выплески ужаса и восторга. Одна за другой тьму зала озарили вспышки фотокамер. Зрители уже пришли в себя и спешили запечатлеть гигантскую тварь на свои гаджеты.

Вскоре световые всполохи-зёрна превратили окаймляющую тьму амфитеатра в заполненное зыбко фосфоресцирующим крилем пространство.

То ли несдержанно громкие возгласы, то ли работающие фото- и видеокамеры спугнули рыбину. Она сорвалась с места, описала круг против часовой стрелки, потом ещё один, потом резко изменила траекторию движения, стремительно пересекла пространство кристальной синевы по траектории диаметра, заставив инстинктивно отпрянуть расположившихся в той стороне, а весь зал — единодушно и громогласно отреагировать.

Теперь в этом бурном излиянии эмоций нотки страха едва проступали, а захлёстывал сплошь восторг.

Перемещения хищницы не прекращались ни на секунду, их темп нарастал, с такой же неизбывной настойчивостью демонстрируя сочетание изящной грациозности плавных, но стремительных движений со свирепостью морды, которая, то и дело задирая тупой клин носа, обнажала наводящие оторопь трёхрядные пилы разведённых зубов.

В маленьких, поросячьих глазках гигантской твари застыла ледовитая неподвижность древнего, как мир, допотопного ещё состава, вступая в тревожное несоответствие с быстротой перемещения огромной туши, которая сновала всё также против часовой стрелки и, следовательно, против хода едва уловимого, но неизбывного вращения амфитеатра, соотносимого, как утверждали посвящённые, с направлением и скоростью вращения титановых гидротурбин самого гиперболоида.

Этот *пуговичный* взгляд буравил кристальную прозрачность перегородки, словно выискивал лакомую жертву, последовательно выбирая среди сидящих в зале, за практически невидимой стеклянкой стеной.

Сапфировая субстанция вкупе с океанской гостьей заключалась в резервуаре из толстенного и сверхпрозрачного материала, сверхпрочность и эластичность которого зубастая хищница успела уже наглядно продемонстрировать. В тревожном движении она дважды с силой втыкалась в борт ёмкости, оба раза продавливая податливую стенку, которая тут же упруго восстанавливала первоначальную стройность.

Зал уже разобрался с техническими обстоятельствами явленного зрелища и весь обратился во внимание. Внимали, используя гаджеты: повально затеяли селфи, смельчаки потянулись ближе к резервуару, потом принялись щёлкать в непосредственной близости, стараясь дотянуться до сапфировой грани ладонями, и высокорослым это вполне удавалось, к их вящему удовольствию.

На рыбину эта сопровождаемая вспышками суета действовала явно раздражающе. Она вдруг практически с места, с бухты-барахты разогнавшись, как подводный паровоз, нанесла удар в стенку, причём такой силы, что та обтянула тупоносую морду осклизлым выступом жидкого стекла, которое, показалось, сейчас прорвётся брешью. Но стенка выдержала, не оставив даже царапин от жутко разинутой зубастой пасти. Остались потёки

крови, прорезавшие синеватую толщу пурпурной дорожкой — *французской ножкой*, как с удовлетворением констатировали бы дегустаторы, наблюдая подобный эффект на стенке винного бокала.

Не успела пурпурная струйка распушиться дымкой в солёной толще, как акула нанесла новый, ещё большей силы удар, причём в ту же точку, видимо, избрав в качестве прицела собственную кровь. Стенка повела себя так же, а рыбу морду буквально расплющило, словно в безоглядном стремлении нанести сокрушительный нокаутирующий удар она была поймана встречным, ещё более страшным ударом. Впрочем, рыбина устояла, точнее же — удержалась на плаву. Сама толща держала её. А кровавые потёки на стенке умножились, тут же задымившись багряной взвесью.

Это самоизбиение монстра вызвало в зале ажиотаж и экзальтацию. И в тот же миг на вершине сапфирового резервуара, в парчовом перекрестье лучей, вытканых сусальной и червонной канителью, возник Наф-Наф Дога. Он утвердил ноги на ширине плеч, словно бы попирая бесновавшуюся прямо под ним хищницу, развёл руки в стороны и вверх, а потом в микрофон, который находился у него в левой руке, сообщил:

— Вы видите? Микрофон в моих руках — мировой. И я обращаюсь к граду и миру.

Затем исполнитель сообщил, что пресс-конференция началась. В зале, озарившемся светом, тут же вырос лес рук, и Наф-Наф Дога, без всяких вступительных прелюдий, тут же перешёл к ответам на вопросы. Эта открытость и явный жест уважения к интересам собравшихся в зале тут же вызвали гул одобрения масс-медийной братии и в особенности её сестринской части.

Сексапильная представительница MTV, пышногрудым порывом откликаясь на повелевшую ей говорить длань певца, попросила Наф-Наф Догу самому в двух словах охарактеризовать свою исполнительскую манеру и назвать тех, кто повлиял на формирование его стиля.

- Стиль — это человек, а не пойман — не зверь! Наф-Наф Дога, “МС ЦИРКа и не-ЦИРКа” — трагический площадной поэт. Площадь — чаша, что полнится терпким вином гнева и хохота... — формулировал автор-исполнитель. — Архилох, Антиох Кантемир... Я наследую этим великим. Бичи своих песен плету с оглядкой на парные рифмы, набросы и сбросы Бродского, ступаю соразмерно словесной походке Снуп Дога и Чёрного есенинского человека. “Чорномор оделся белым”, — таковы слова крёстного, и, значит, “блэкфейс”, чёрный грим для бледнолицего — не повод для обвинений в расизме, ибо сродни боевому фейс-арту краснокожего. И разве не достоин респекта и всяческого внимания наглядный урок отбеливания Майкла Джексона? Та садо-мазо-мучительная оголтелость, с которой король поп-музыки сдирал бремя чёрной кожи с белой своей души?

— Замечено, что вы предпочитаете кроссовки фирмы “Адидас”. Означает ли это, что вы состоите в банде Srips? Как известно, к членству в её рядах относят вашего крёстного?... — прокричали из зала провокационное.

Наф-Наф Дога ни секунды не мешкал с ответом, отточенным, как зюлингенское лезвие:

— “Как известно?..” Как известно, Наф-Наф Дога — свой дома, ибо проживает на своём районе! У нас на районе предпочитают цвет хаки. Или камуфляж. И толстовка ценна Наф-Наф Доге исключительно её опосредованной сопротивляемостью исканиям яснополянского графа, созвучным идеям ласки и нежности зверства. Что касается трёх полосок... Космополитизм — зло, интернационализм — благо! Пусть районы и континенты объединятся над общими знаменателями! Да будут кроссовки! На нистрянском районе три полоски — всего лишь причастность к прославленному отечественному бренду “Флоаре”. “Флоаре” — значит “цветы”. Да процветёт непротивление зверству насиллием!..

Наф-Наф Дога выставил вперёд сначала одну ногу, потом другую, предоставляя пользователям возможность убедиться в правдивости своих слов, демонстрируя обутую обувь и попутно — отличную растяжку и ударную технику.

— Не подразумевает ли упомянутая Вами словесная походка бандитский танец C-Walk? — тут же атаковал вопрос.

— Вы сказали: “Бандитский танец”? Вы сказали: “Си, волк”? — парировал Наф-Наф Дога. — Как известно, бандиты не танцуют. Волки не пляшут. Хореография — утешение тел проводниц ЦИРКа “Море любви”, возводимое в степень утехи алчущих-страдающих пользователей. Коллектив “Intellectual Dolls”, или, попросту: “I-Dolls”! Поприветствуем огненно-рыжих валькирий!

По хозяйскому повелению Наф-Наф Дога битком набившие зал представители медиа оглушительно и продолжительно приветили вереницу избранниц, — действительно, рыжих, как на подбор, прямо в рядах явивших свою нежную, шоколадом и медью налитую плоть в ласкающих взор сценических одеяниях.

Эта нежность, сулящая ласку не в отдалённой перспективе горизонта сцены, а в исполненной предвкушения непосредственности, контрастировала с неистовством самоистязания, которому в такой же непосредственной ёмкости резервуара предавалась белобрюхая бестия на глазах участников пресс-конференции, прямо под ногами Наф-Наф Доги.

Пошли вопросы по творчеству, источникам вдохновения, острой социальности и выстраданной тематической концептуальности дебютного альбома. Наф-Наф Дога отвечал, словно начитывал. Ответы, умахнённые каламбурами, шутками и игрой слов, оборачивались захватывающей импровизацией, продолжением выступления. Ласковый и нежный зверь, то бишь GentleBeast, вещал Наф-Наф Дога, родился во время просмотра высокобюджетных блокбастеров, посвящённых свершениям супергероев, при знакомстве с которыми певец отметил подспудный и необъяснимый с точки зрения рациональности крен собирательного образа супермена в область животного мира. Почему подвиги совершают непременно Человек-Паук, Человек-Летучая Мышь, Человек-Муравей, наконец, Леди-Кошка и Леди-Божья Коровка?

Осенённый наитием исполнитель вознамерился осуществить миссию по устранению дисбаланса, вернув дань почтения человеку, созданному по образу и подобию Всевышнего, от лица (то бишь от морды) зверя, чересчур, на взгляд Наф-Наф Доги, обласканного и изнеженного широкоэкранный чество и голливудской славой.

Исполнитель в свойственной ему открытой и непринуждённой манере огорошил представителей масс-медиа исполненным онтологической глубины встречным вопросом: “Кто сказал, что человеку для того, чтобы обрести суперспособности, следует допустить сопряжение со зверем, стать пауком, божьей коровкой или летучей мышью? Почему этот принцип, воцарившийся во Вселенной Марвелла, был так безоговорочно принят на веру Вселенной мира сего на правах откровения?”

Далее Наф-Наф Дога чеканно и твёрдо заявлял притихшему залу и через десятки видео- и телекамер — граду и миру о своём нежелание мириться с подобным миропорядком.

С утверждённого в самом сердце ЦИРКа, “Зебулариуме”, сапфирового постамента, исполненного бесноватой яростью пилозубого монстра, Наф-Наф Дога провозглашал начало контрнаступления против тотальной практики озверения образа человека, объявлял о возложенной им на себя новой миссии, которую он будет отныне повсеместно осуществлять под знаменем обратного озверению принципа — воочеловечения зверя, принципа морды, взалкавшей уподобления лику как высшей точки осуществления в образе.

— Прекратите, в конце концов, мучить животное!.. — воскликнула вдруг совсем юная журналистка, прорвавшись к одному из стационарных микрофонов в зале, очевидно, какая-то экологиня и представительница партии защиты животных. Сублично-кроткий её вид никак не вязался со звонким, задорным, несмотря на исполнители её страдание и надрыв, голосом.

— Это же бесчеловечно!..

Возглас был подхвачен в зале и разросся солидарным откликом.

Наф-Наф Дога, ничего не ответив, отпрянул от края резервуара, подскокил к его центру и, наклонившись, отвёл крышку люка, сработанного из

такого же кристально прозрачного материала, как и вся остальная гигантская ёмкость. Сквозь призму стекла и воды каждое действие Наф-Наф Дога в перекрестье лучей софитов было прекрасно видно зрителям.

Только сейчас публика увидела толщину стенок лока, и, следовательно, его непомерную тяжесть, с которой Наф-Наф Дога тем не менее легко справился.

Когда он открыл вход в синюю толщу, амфитеатр не выдержал, родив дружный возглас, но то, что последовало потом, спровоцировало нечто, похожее на громогласный рёв запредельного ужаса.

В мгновение ока скинув кроссовки с синими полосками, толстовку и майку с изображением кулака, из которого торчало отведённое вниз короткое лезвие, обнажив натренированный, сплетённый из мускулов торс спортсмена-бойца, Наф-Наф Дога, не дав никому опомниться, прыгнул в воду. Перед прыжком на нём остались лишь болотного цвета джинсы и маска, укрывавшая лицо автора-исполнителя образом клыкастой вепревой пасти.

Хотя шум и экзальтация захлестнули зал, это не помешало полумгле амфитеатра оцетиниться сотнями вспышек гаджетов, спешивших запечатлеть разоблачившегося исполнителя.

То, что произошло потом за стенкой аквариума, походило на трансляцию из зазеркалья. Наф-Наф Дога прыгнул, прижав руки, вытянувшись в струнку, и оловянным солдатиком стремительно погрузился метра на три, в самый центр резервуара, где с разбитой в кровь мордой, по исполненной хаоса замкнутой траектории металась вконец обезумевшая акула.

Вряд ли кто-то отважится безоговорочно утверждать, что сыграло тут свою роль: то ли дьявольский расчёт, то ли сказочное везение, но в ворохе пузырей низвергнутый исполнитель оказался в аккурат на пути взбесившейся бестии. Рыбина на долю мгновения замерла, то ли от испуга, то ли от неожиданности, и именно в этот спрессованный миг Наф-Наф Дога наложил ей на морду ладони.

Круговоротом плещущий по амфитеатру многоголосый ор осёкся, словно сам в себе захлебнулся. Мёртвая тишина окутала зал, часть гаджетов погасла (хотя большая часть продолжала исправно работать, на автопилоте, несмотря на протрацию, в которую впали их пользователи). Зал заморожено, как бандерлоги за танцем питона Каа, следил, как Наф-Наф Дога гладит акулу по щекам, и тоже, под воздействием его движений, погружался в ступор немого оцепенения.

Зубастое чудище всей своей паровозно-огромной тушей стало заваливаться назад и набок, словно ласково-нежные прикосновения исполнителя ввергали её сознание в стихию доселе неведомой неги.

Владычице Мирового океана, чьё сознание с допотопных времён эволюции опростилось до единственно верной в зверских пучинах, беспощадной жестокости и существовало себе припеваючи, кромкая и чавкая, вдруг, посредством простейших тактильных движений — поглаживаний, по силе воздействия подобных разве что пассам заморского гипнотизёра, — открылось новое море, безбрежно чудесное море любви.

Акуля туша завершила разворот на спину и, обессиленно свесив спинной плавник, застыла белым брюхом кверху, в беспомощном трансе погружения в так нечаянно щедро явленную хищнице благодать.

Наф-Наф Дога ещё несколько мгновений балансировал возле замирённого тулова, словно хотел убедиться, что оно не шевелится, и потом стремительно всплыл. Он выбрался самостоятельно, отклонив попытки помочь со стороны неизвестно откуда взявшихся на крыше резервуара секьюрити.

Зал ревел от восторга, встречая спасителя, бурей аплодисментов облекая его мокрый торс в тогу героя. Подобрал им же брошенный микрофон (никто из секьюрити не посмел притронуться к нему, будто то был какой-нибудь скипетр), Наф-Наф Дога с шумом выдохнул, всколыхнув новую волну зашкаливающих эмоций.

— Акула погружена в состояние тонической неподвижности, — возгласил исполнитель. — Теперь вам решать! Решать её участь! Ваше желание — избавить чудовище от мук — исполнено. Оно уподоблено спящей красавице,

помещённой в хрустальный гроб. Через пятнадцать минут акула уснёт навсегда, окончательно погрузившись в бездну вдруг открывшегося ей несказанного счастья. Или всё же её разбудить? Но захочет ли она, познавшая светлые воды моря любви, вернуться обратно во мрак первородного зла? Будет ли её пробуждение человеческим поступком? Итак, вам решать...

Наф-Наф Дога поднял с пола свою чёрную майку с изображённой на ней рукой: сжатая в кулак, она была одета в кожаную перчатку. Перчатка, с обрезанными кончиками пальцев, по виду практически не отличалась от предназначенных для занятий фитнесом или работы с боксёрским мешком. Единственное отличие заключалось в коротком лезвии, которое торчало в нижней части из ребра ладони, похожее на отведённый книзу большой палец. Зал залито светом, заставив зрителей зажмуриться.

— Ваше решение! — призывно вопил Наф-Наф Дога. — Свет или мрак? Ваш большой палец — вверх или вниз!.. Дать навеки заснуть или пробудить для труда и боли? Голосуйте! Вверх или вниз?!

#### 4. В сугробе

Отец Михая был сельским кожухарём. Когда Михэицэ исполнилось семь лет, и он подросток достаточно, чтобы помогать отцу, тот вешал шкуру на сынишку и начинал кроить. Раскроив овчину на части, он потом долго прикладывал их так и этак, примеривал, а после опять призывал Михэицэ в помощь, набрасывал поверх него куски овчины и принимался шить.

Отец пел: и вечером, когда шил, и утром спозаранку, когда кроил шкуры, работая сапожным ножом. Лезвие ножа, короткое и острое, как железный зуб волкодака\*, двигалось совсем близко от Михая, но он совсем не боялся.

Движения отцовских рук были точны, а пальцы, когда он принимался шить, двигались так быстро и ловко, что мальчику казалось, что они живут сами по себе, танцуют вместе с иглой, ниткой и шилом под отцовскую песню.

Эта хора не прервалась, пока отец пел свою волшебную песню, и Михай, как заворожённый, следил, как четырёхгранная игла ныряет в мездру и пробивается на свет, подхватывая коричневатыми и твёрдыми, как жёлуди, пальцами с вьезшейся в трещинки и под ногти чернотой, как шило споро укладывает выбившийся волос в шов между сметанными шкурками.

И тогда приходило то, к чему всё в душе было подготовлено.

Михай вдруг переставал ощущать затёкшие от стояния плечи и шею, томительное нытьё в ступнях и коленях. Он переставал чувствовать самого себя, словно его и не было. Покинув своё обложенное шкурами тело, он выстунал в круг хоры, которую тут же на овчине, заполняя собой весь мир, справляли с иглой и шилом пальцы под волшебный напев.

Стежок за стежком, слово за словом. У сельского кожухаря было много работы, нескончаемое множество песен сменяли одна другую.

Поначалу мальчик всё никак не мог привыкнуть к новым обязанностям. И ещё мама всё причитала: не слишком ли рано сынок повёрстан в помощники, не мается ли он в своём бесконечном стоянии? Вздыхала, еле заметно всплёскивая руками: “Оф, оф, оф! Что, мол, беденький, ненаглядный её Мицэ, измаялся?” Но делала это украдкой, чтобы, не дай Бог, отец не заметил. “Мой маленький Мицэ-Михэицэ”, — так мама напевала ему, когда её ладонь гладила перед сном его лоб, щёки, волосы.

Она была добрая, её натруженные руки были исполнены нежности. И отец был добрым, хотя во время работы был сосредоточен и строг. Как его песня, которую ни в коем случае нельзя было прерывать.

Его твёрдая, как дерево, ладонь иногда теребила макушку Михая. “И в самом деле, мицэ\*\*!.. — с улыбкой обращаясь к матери, произносил

\* Волкодак — оборотень, принимающий волчье обличие.

\*\* Мицэ (молд.) — шерсть, руно молодых ягнят.

отец. И добавлял: — Настоящее руно ягнёнка!” — “Весь в отца! — весело отзывалась мама. — Такой же курчавый!” — “Да-а! Наша порода, от корня Константина! — с гордостью соглашался отец, названный Константином в честь своего деда. И весело добавлял: — Не зря в Христофоровке говорят: “Константиново семья и без овчины зимой не замёрзнет”. Так, Илинка?!” — “И не только в Христофоровке... И в Мокре так говорят...” — улыбаясь, отвечала мама. Отец взял её из соседнего села, из семьи мокрянского бондаря Опри. Бондарём был и папин отец, дед Михай, в честь которого был назван Мицэ.

— Не застал ты, Михай, своего деда! Тот был воистину митос\*! Как пришёл в село с правого берега, все говорили: “Волосатый явился, знать, Христофоровке — к богатству”. Крепко, так, что с корнем не вырвешь, врос в эту землю. Только не успел твой дед нажать богатства. Не в добрый час попался он на пути старого пана. Не зря говорят: как завидишь барский туджуман\*\*, беги, а не то пить тебе до дна чашу барского гнева...

Что стряслось с дедом Михаем, когда встретился ему на пути старый пан, отец не рассказывал. Затягивал песню о господаре Штефане Великом и разбойнике Миу, про то, как отважный гайдук Миу вершил свой суд по праву собственной воли и понятия о справедливости, защищал крестьян от жестоких панов, от жадных сборщиков податей, продажных судейских.

Прослышал про то владыка земли молдавской, не потерпел чьей-либо воли, помимо верховной, самовластной, и велел изловить разбойника. Но хитёр и ловок Миу, бродит он по тропкам тёмным, по лощинам спит укропным, на плечах кожух овчинный, в шапке-кушме с шерстью длинной. Не поймать его господарским арнаутам, надёжно хоронится гайдук в лесах, чтобы вновь выйти к людям и воздать обидчикам за слёзы обездоленных. И тогда вознамерился Штефан самолично покарать смутьяна, явить всесильную мощь сжимающей меч монаршей длани, ибо никто перед Богом и перед людьми не смеет противостать господарской власти.

И собрал Штефан-водэ верных воинов и наёмных арнаутов и сам повёл в леса. И напало господарское войско на след Миу-разбойника, и вели его след до самых предгорий, и настигли в лесу, загнав в самый угол, как псами ободранного, затравленного серого волка.

Всесильный господарь, перед мечом которого трепетали все стороны света: к северу и на запад — ляхи и угры, на востоке — ногайцы, к югу — татары Буджака и блистательный Стамбул, коего сам Папа Римский нарёк атлетом Христа, чуял Штефан Великий, как хищник, ни разу не давший промаха, лёгкую близость добычи, тешил себя предвкушением расправы над своевольником Миу — казни скорой, но лютой, показательной, чтоб другим неповадно было.

На самой опушке набрело господарское войско на пастуха и отару. Дед, такой же ветхий днями, как его овечий кожух, заросший седыми космами, как старая его кушма, весь в чёрных морщинах, скрюченный годами в бараний рог, пас овец на склоне. Предлагал он господарю кусок брынзы и сухой, как камень, мамалыги, и воды из лесного родника. Голос старика скрипит еле слышно, как высохшая ветка дуба при дуновении ветра. Господарь, отважный, в народах прославленный воин, всесильною волей приведший сюда своё войско, желает сам слушать чабана. Он лихо сходит с коня, бросает узду едва подоспевшему подобострастному боеру, он сулит ветхому днями пастуху серебро, дегере вина и яства и спрашивает о беглеце. И старик с покорностью отвечает господарю, что путник просил его испить воды и что он отвёл его к роднику, и что тот остался у проточной воды на отдых, и что деться тому некуда, потому как с той стороны леса — отвесные скалы и бездонная пропасть. Но тропинка к роднику трудна, и пройти туда можно только пешком и по одному. И господарь смеётся в ответ и молвит, что не так уж, видно, труден сей путь, если по силам его одолеть старому пастуху. И хохочут угодливо боеры, и всё господарское войско — верные воиники

\* Митос (молд.) — волосатый.

\*\* Туджуман — соболья шапка с красным дном.

и наёмные арнауты. И кладёт Штефан-водэ могучую длань на рукоять своего господарского палаша и вынимает его из ножен, и дамаская сталь сверкает, как молния, и бабочка, привлечённая светом, подлетает к клинку, и крылышко, нечаянно задев его, опадает в луговую траву обгоранным лепестком. И приказывает Штефан чел Маре старику отвести его к роднику, где он самолично отделит беспутную разбойничью голову от разбойничьей шеи. С покорностью соглашается старый чабан и ведёт господара в тёмный лес.

И в самом деле, извилист тернистый путь, и чаща всё непроходимей, и старик, поначалу еле-еле шагавший, будто бы набирается сил и шагает проворней, и идут они долго, и господарь, будто во сне, старается не отстать от исполненного молчания пастуха.

И странно: мерещится господарю, будто бараний рог скрюченной спины старика вдруг распрямляется, и чувствует он в душе, в самой бездонной её глубине какое-то небывало доселе чувство, и хочет окликнуть поводыря, но в тот же миг проваливается в сердце неведомой тьмы.

Не сразу великий Штефан, всесильный господарь, осознаёт, что угодил в западню. Из глубины волчьей ямы, что пахнет сырой могилой, глядит он наверх, на свет, от которого больно глазам, и видит, что ему не выбраться. Гневается он, но голос господаря, от которого трепещут, как осиновый лист, все четыре стороны света, бессильно бьётся в ловушке, как в погребке, запертом на тяжёлый засов. И видит он над собой нависшую тень, что заслоняет солнечный свет.

Тот, наверну, в той же рваной кушме и в том же ветхом кожухе, но словно одёжка не по росту мала богатырю. Голос исходит от тени, могучий и ровный: “Зря изводишь гнев свой, господарь, не докличешься до твоих слуг, хоть век кричи”. — “Кто ты? Разбойник Миу?” — восклицает Штефан-водэ. Пуще прежнего вскипает в нём ярость. Велит он в гнев разбойнику: “Немедленно вызволи господаря из волчьей ямы!” — “Я Миу-гайдук... — отвечает тень. — Тот самый, которого ты травил своими верными псами, как волка. Не ты меня изловил, не ты меня победил. Не тебе мне приказывать. Сам попал в волчью яму. Надёжно схороню западню от людских глаз. Не найдут тебя твои верные псы — бояры и войники, и арнауты. Плохой у них нюх, чуют только смрад поживы и бесчестья. После, может, отыщут твой палаш с клинком из дамаской стали, обглоданные твои кости. Потому что волки найдут тебя раньше”. И умолкла тень. Молчал и Штефан, а после ответил: “Хитёр ты, Миу-гайдук”. — “С волками жить, по-волчьи выть”, — молвил Миу, и усмешка звучала в его ответе. Умолк господарь и после проговорил: “Вызволи меня, Миу-гайдук, из волчьей ямы”. — “А что обещаешь взамен?” — спросил его Миу. “Обещаю, что мои слуги не будут травить тебя, словно волка”. И вызволил Миу-гайдук господаря Штефана из сырой могильной тьмы на свет Божий, и молвил ему великий господарь: “Оставайся в своём гайдучестве, а я останусь в своём господарстве...”

Этой строчки, как праздника, ждал Михэицэ. Пропев её, отец умолкал, а в сердце маленького Мицэ волнами накатывала неведомая радость, такая же жаркая, как насквозь прогревающая, но не парящая овчина, что обступала его подобием шатра.

Отец во время работы всегда обращался к нему, как ко взрослому, называя полным именем: Михайл, тем самым утверждая, что сын, как и положено старшему, теперь помогает семье питаться хлебом насущным.

Пока было тепло, отец шил и кроил во дворе. Мама спозаранку и до звёзд возилась на огороде и винограднике, и по хозяйству, и младших брала с собой. Пятилетняя Даринка присматривала за Трифоном. Младший родился этой зимой, и вместо хлеба насущного мама кормила его грудью. Мицэ начинал тосковать по маме и по тому, что нельзя было бегать, где хочется, на речку и в лес.

Отцовское: “Делай, что должно!” — не помогало пересиливать исподволь саднившую, как ссадина, усталость и тоску. Когда похолодало и выпал первый снег, они перешли в дом. Тоска Михая сменилась страданием. Вот и лето позади, и осень заканчивалась, а всё он не мог пообвыкнуть к стоянию. То, что мама вот тут хлопчет у печки, прогоняло тоску, но её сменило



осознание того, что мама страдает, и он является причиной этих страданий. Всякий раз, когда она мельком бросала на него взгляд, её лицо исполнялось такой жалости, что мучения мальчика вырастали до муки.

А тут ещё младший начинал плакать. Даринка не могла его успокоить, как ни старалась раскачивать зыбку. Плач Трифона звенел в ушах, будто копошилась блестящая стальная игла в голове Михая.

Отец словно и не замечал наполнявшего дом истошного крика. Порой, вбежав со двора на крик Трифона, мама задевала корыто, громыхавшее о пол, или ударяла казаном по заслонке, и всякий раз испуг отражался на её лице. Но отец был настолько погружён в работу и песню, что не отвлекался на совершавшуюся тут же домашнюю жизнь.

А Михай, томясь под овчиной, откликался на всё. И про себя твердил, не в силах унять нарастающее раздражение, что пусть этот Трифон замолчит.

За ужином, собирая на стол, мама жаловалась, что Трифон кусается, а отец смеялся и, наполнив глиняную кружку с отбитой ручкой багряно-прозрачной струёй из кувшина, говорил, что родившийся на Трифона-Зарезана будет знатным виноградарем. Мать говорила, у меньшого уже вылезли и верхние резцы, и нижних — четыре, и что у Мицэ в девять месяцев только прорезывались нижние зубки. Отец, выпив, добавлял: если у младшего уже полон рот зубов, то будет знатным едоком.

Мама, хотя как бы и жаловалась, но не скрывала радости, как и отец, и Михай принимался усердно жевать дымящийся кусок мамалыги, словно доказывая себе самому, что он едок ничуть не худший.

Если песня отца прекращалась, а мама среди бесконечных хлопот по готовке и хозяйству оказывалась рядом, отец, словно выныривая из речной глубины, восклицал с весельем и силой:

— Смотри, Иляна, наш Мицэ стоит, как вылитый Константин-император! А как же иначе подобает сыну самой прекрасной царицы Иляны?

Это была его любимая шутка, означавшая, что он особенно доволен проделанным трудом. Мама всегда, словно застигнутая врасплох, краснела от смущения, а в груди Михая рождалось горячее ощущение чего-то радостного.

Так вышло и в тот раз, когда что-то бесповоротно изменилось для маленького Мицэ. Он, как и прежде, во всё лето и во всю уже осень томился в тоске и страдании, и ещё в животе сводило от голода. На заре он помогал отцу чистить от снега тропинки во дворе, чтобы мама могла пройти в хлев и к сараю, покормить живность.

Снег выпал ночью, невесомо-лёгкий, и весело было догонять Даринку и валять её в белом пуху, пока она не принималась звать папу на помощь. А потом мама позвала Даринку качать зыбку, а отец принялся за работу. И вот уже в животе сводило от голода, но игла всё также ныряла и появлялась на свет, оставляя за собой след тугого стежка.

\* \* \*

Отец, весь будто в жменю собравшийся, размеренно двигал пальцами, дошивал кожушок. Детский полушубок из мерлушковой\* овчины был скроен по мерке Мицэ, но шился по господскому заказу.

Три дня, как появился на свет панский сын, долгожданный отпрыск знатного панского рода. Надо было закончить ещё накануне, но мастер Константин завозился. Осторожничал с нежной, непривычной ему мездрой мерлушки, и с самой работой, небывалой доселе в доме кожухаря. Виданное ли это дело: шить кожушок для новорождённого?!

Ясновельможную волю до хаты кожухаря донёс самолично панский управляющий Ока, за глаза именуемый на селе Пугой\*\* — из-за арапника, который он всегда носил с собой.

\* Мерлушка — шкура ягнят.

\*\* Пуга (южн.) — кнут.

Вот и тогда, когда объявлял он чудную прихоть, с хрипом, будто угрозу вырыгивающим басом, зажатый в огромной его ладони кнут тыкался в грудь Константина, словно бы довершая непреложность сказанного. Но куда уж непреложнее! Слова, будто горы, зажатые морщинистыми, неподъёмными складками. То же и веки, что выдавливали из-под низко нависшего лба и косматой папахи мрачно-свирепый взгляд, от которого, как и от каменного голоса огромного и страшного управляющего, Михэцэ делалось жутко.

Но когда этот каменный взгляд останавливался на маме, что-то другое, вытеснявшее страх, поднималось в груди Михая. Его охватывало неодолимое желание вырвать плётку из ручки страшного Оки, чтобы она не тыкалась в папину грудь, и хлестнуть по страшным глазам, чтобы те никогда, никогда не глядели так больше на маму. Но попробуй вырви плётку из камня!..

Сговорились наутро встретиться у чабана Иона и выбрать шкурки для панского заказа. Ион смотрел за панской кошарой и был нанашулом Константина и Иляны, крёстным отцом их детей Михая, Дарины и Трифона.

Но когда ещё затемно мастер Константин, захватив с собой сынишку, направился к нанашулу, дома они его уже не застали, а Галюца, маленькая дочка нанашула, оставленная на хозяйстве, прощebetала, что все побегли на кошару, и там что-то случилось.

Пока добрались до панской кошары, уже посветлело. Кум был там, также и управляющий, и собрался весь двор и чуть ли не полсела. Народ толпился за кошарой, то и дело гомоном отзываясь на сбивчивый, скороговоркой выдаваемый рассказ Нади, жены Иона. Нанашка Константина, крёстная Мицэ, говорила без умолку, словно не в силах была удержать в себе переполнявшие её вести.

Ночью приходили волки и задрали овец и барана. И Барзу — собаку, оставленную охранять кошару. В центре полукруга понуро стоял крёстный Ион, бормоча оправдания, качая тяжёлой от выпитого накануне головой.

У постолов пастуха, на порыжевшем от крови снегу, валялись куски и клочья мяса и шерсти — всё, что осталось от барашка. Тут же уложили овец, которых только что вынесли из кошары. Туши, покрытые белоснежной шерстью, были целы. Их вытянутые, загнутые книзу, как у птиц, пепельно-бледные морды были печальны и казались уснувшими. Только красно-бурые дыры на месте вырванных глоток говорили о причинах беспробудного сна.

Обе ярочки и барашек были весенние, этого года, а взрослая овца была их мать. Надя, жена Иона, нанашка Константина и Иляны и крёстная их детей, всю ночь помогала на кухне в господском доме, где не прекращался пир по поводу появления на свет наследника панского рода.

Там же оказался и Ион. Принёс он под вечер шесть кругов брынзы для панского стола, а дворяня гуляла на щедрое господское угощение, и Ион с псарём Петрей, который доводился ему троюродным братом и кумом, выпил на двоих ведро доброго вина из бездонного панского погреба, а потом пили цуйку\*, и ноги его уже домой не несли, и так он и заснул на лавке в кухонных сенях, укрытый женой своим тулупом.

Надя, не сумев на заре добудиться мужа, забежала домой проведать детей, покормить скотину и птицу, а после пошла на панскую кошару доить и нашла зарезанных волками овец. Они лежали на соломе посреди кошары, почти не тронутые. Остальные испуганно жались вдоль стенок и блеяли. И крови почти не было, будто всю её выщедили, не упуская ни капли.

Барашка, вернее то, что от него осталось, нашли снаружи, на дворе, между саманной стеной кошары и плетнём. Этого выволокли через вырытый лаз и рвали с остервенением, будто для страшной потехи. Волчьи следы вели в поле, за которым по склону начинался лес. Там всё было бело от выпавшего накануне снега.

Потеря Барзы больше всего сокрушала Иона. К пастуху она попала ещё слепым щенком из выводка господской овчарки Добры. Тщедушный вид

---

\* Цуйка (нистрианск.) — самогон из винограда, плодов груши, сливы.

и *худой* окрас обрекали последыша в многочисленном выводке на быструю смерть в кадке с дождевой водой от неумолимой руки управляющего Оки, который лично смотрел за панской псарней. Родилась она альбиносом: вся белая, с рыжими до красноты острыми кончиками ушей и носа. Ока рычал и брызгал слюной: мол, не дело собаке, да ещё такой знатной, как Добра, — любимице пана, подаренной хозяину владельческим соседом и покровителем, графом Витгенштейном в память об особом расположении того к старому пану, пороситься в приплоде свинёнком. Хотя сама Добра к кормлению альбиноску допускала.

Ион выпросил свиношку, выхаживал её и даже покармливал первый год кашем — свежей, только настоявшейся брынзой.

И Барза, словно в благодарность за спасение и заботу, выросла в огромную собачину, верную спутницу чабана во время многодневных выходов с отарой на луговой выпас. Когда ей не исполнилось ещё и полугодя, шерсть её стала темнеть и к году совсем почернела, сделалась густой, словно шуба, надёжно защищая в лютый мороз. Только на хребте, груди и лапах, как память о поросычем младенчестве, остались белые пятна. И ещё сохранился огненно-рыжий ворс на концах ушей и остроносой морды.

За чёрно-белый окрас и морду, пламенеющую в лучах закатного солнца багряным отливом, собака и получила кличку Барза\*.

Батюшка Паисий на кумэтрии — крестинах средней дочки чабана Галюцы — всё приговаривал: “Благословение Божье, Ион, твоей дочери Галине и всей твоей семье. Доброе у тебя вино! Краскэ ку умэрь\*\*! Плечи от него делаются шире, а усы под носом — красными! Смотри, Ион, у твоей Барзы весь нос красный. Не поишь ли ты её своим чермноусым вином?”

Ион был доволен, что батюшка хвалит его вино, что тому весело на дочкиных крестинах. “Отче, Барза у меня и брынзу ест! — смеялся он в ответ. — Вот свиначий её пяточок и превратился в зубастый клюв черногузки\*\*\*!”

Остроухая и остромордая, собака обладала острым умом и не менее острыми зубами, на выпасе и во время загона отары умело делая за Иона немалую долю чабанской работы. Однажды при подъёме на дальний луг, что за Змеиным ущельем, Барза в одиночку вступила в схватку с тремя волками, отбила у них овцу ещё до того, как Полкан, чабанский пёс, и следом сам Ион подоспели на помощь.

А нынче не уберёт... Вчера вечером, уходя на панский двор, Ион приказал Барзе сторожить кошару. Привязи Барза не знала, лучше иного человека она ведала свои обязанности и строго их исполняла.

Да Иону и в голову бы не пришло посадить собаку на цепь или привязь. У стены, возле дубового столба, что подпирал длинную стреху кошаровой крыши, Ион обустроил собаке место, загородку от ветра, выстеленную сеном. От дождя и снега защищал длинный скат крыши. Теперь только белый пух покрывал сено в закутке, прямо против того страшного места, где рыжий от впитавшейся крови снег весь утрамбовался следами возни и борьбы. Там, где Барза в смертельной схватке с волками встретила свой последний час.

\* \* \*

Никакое событие, даже такое из ряда вон выходящее, как нападение волков, не терпело задержек в исполнении господской воли. Подгоняемые Окой, сани с кожухарём Константином и его нанашем Ионом и маленьким Мицей полетели по снегу к дому чабана.

Добротный дом чабана, с высокой приспой и резными цветками на вершинах дубовых колонн, с натопленной кухней, пахшей токаной и мамальгой, располагался на противоположном от панской кошары, южном краю Христофоровки.

\* Аистиха (молд.).

\*\* Краскэ ку умэрь (нистрианск.) — краска с плечами.

\*\* Черногуз (укр.) — аист.

Пешком, да ещё по навалившему снегу, долго добираться до дома Иона, в обход огромного парка, окаймлявшего панскую усадьбу, подбиравшегося вплотную к лесу. Крестьянам запрещалось заходить в господский парк. Управляющий Ока сам следил за исполнением господской воли и нещадно карал провинившихся собственной плетью, слетённой в косицу искусной рукой мастера из воловых жил и длинных, в лапшу раскроенных лоскутов свиной кожи. Ока следил за неукоснительным соблюдением запрета, и потому на него запрет не распространялся.

Чабан занимался выделкой кож. И старшего сына приучал к тому, как правильно снять шкуру, как её выскоблить от жира и мяса, как готовить рапу, вымачивать овчину до того, чтоб мездра легко поддавалась ногтю, а после стирать в уксусном растворе, а после дубить на огне, и чтоб не дай Бог, раствор не остыл, жировать и сушить. Не всегда успевал подсказать отец Ионелу, где добавить соли в раствор или не переусердствовать, нажимая слишком острым лезвием ножа на вымоченную мездру.

Недовольно перебирал угрюмый Ока шкуры, сложенные в просторной горнице каса-маре. Были в запасе у Иона и мерлушки, которых искал управляющий. Но строг и привередлив был Ока, ничего не стоило у пастуха для той прихоти, которой возжаждала панская воля.

Пришлось вместе с Окой отправиться в Мокру, к Караджи, оборотистому скорняку, который норовил подсунуть плохой товар за хороший — шкуру с ломиной\* или прелую, да ещё и содрать с одной толком невыделанной мездры три шкуры, взяв несообразную цену. Отец с Караджи старался дел не иметь. А тут деваться было некуда — поневоле, вернее, по воле всесильного пана, вершимой Окой.

Пропахший уксусом и нашатырём, чернявый скорняк извивался ужом вокруг управляющего и застывшего в молчании кожухаря, не умолкая, рассыпаясь в хвалах посланцу ясновельможного пана и собственному товару, подобного которому не сыскать, где ни ищи — от дунайских плавней до днепровских порогов, не то, что в Рашкове или в Дубоссарах, хоть в Аккермане, хоть в Умани.

Ока, свирепо вращая свои выпученные буркалы, гладил-вымеривал хищной корягой-рукой мерлушки курдючных ягнят, выбирая самые нежные по шерсти, да ещё из курдючных частей ягнят, что стоили против некурдючных втридорога. Денег на этот раз не жалел, не торговался. Видно, велик был гнёт панской воли, скреплённой появлением на свет долгожданного наследника рода.

Наказывал Ока отцу выкраивать только эти курдючные части и из них набирать и шить шубку. Уже на пороге своего дома Константин, робея, прижимая к груди охапку отобранных для работы, сосчитанных мерлушковых шкурок, спросил свирепого Оку: на кого кроить?

Славился в селе и в округе кожухарь своим мастерством. И старый, и малый, и в самой Христофоровке, и в Мокре, и дальше по сёлам, и в городе носили по холоду кожухи, полушубки и шубы, бондицы\*\*, кэчулы и кушмы\*\*\*, а по лету — опинчи\*\*\*\*, или как их называли в Мокре, на украинский лад — постолы, а в Белочах по-русски — поршни. Как ни называй, а главное, чтоб сработано было ладно, с любовью и знанием дела. Мастерски.

Работал Константин и кожухи, но ни разу не шил для младенца. Поэтому и спросил свирепого Пугу: на кого кроить? Про господский заказ Константин уяснил, что он — для первенца молодого пана, долгожданного продолжателя ясновельможного панского рода.

Но как кроить на младенца? Вот что не давало покоя, пока он вместе с Пугой и купленными мерлушками ехал в саних по дороге из Мокры в Христофоровку.

---

\* Ломины — трещины на изнаночной стороне шкуры — мездре, вызванные сильным натяжением или резким перегибом шкурки.

\*\* Бонда (нистрианск.) — жилетка, безрукавка из овчины.

\*\*\* Кэчула (молд.) — головной убор из ягнячьей (смушковой) шерсти.

\*\*\*\* Постолы, опинчи (нистрианск.) — обувь из сыромятной свиной и телячьей кожи.

Тут и спросил, у порога. Ока набычился так, что его белки, навывкате, белые и маслянистые, как очищенное от скорлупы куриное яйцо, заволокло багровым туманом. Ткнув кнутом в появившегося на пороге Михая, прорычал:

— По нему крои. А пуговиц не шей.

Не успел Константин слово сказать, как рука управляющего взмахнула рукой, и кнут, просвистев, громко, как ружейный выстрел, разорвал воздух. Мицэ вздрогнул от неожиданности. Лошадь, испуганно вздрогнув, рванула с места и понесла сани с управляющим прочь.

Отец, сдвинув шапку на затылок, чесал лоб и неотрывно смотрел, как оседает взметённая снежная пыль. А потом произнёс:

— А пугу-то ему я сработал. Знатная пуга... Ни в селе, ни в округе ни у кого нет такой пуги. Не простой кнут, а *шарпа*\* — без кнутовища, сплошь сыромятная кожа... Полоски длинные, что конский волос, и во всю длину истончаются, до толщины волоса. Сколько ночей ушло, чтоб накроить ту лапшу. Десять пар постолов можно было сшить из той лапши. А знатно стреляет!..

\* \* \*

Три дня и три ночи возился мастер Константин, набирая состав кожушка, чтобы кожаный испод серебристо-серой мерлушки, вывернутый наружу, стелился ровно, как снег за окном, но тёплым тоном топлёного молока. Поделится с женой господской загадкой, переданной свирепым Пугой. Успокоила мужа Ильяна: кумэтра\*\* Надя помогала на кухне на господском дворе и сказала, что панская госпожа в последние дни сильно мучилась и родила раньше положенного срока и что младенца кладут в овчину и кутают. Так знахарки посоветовали. Но он всё время плачет, и пани сильно недовольна, и считает, что это из-за овчины, что она негодная, и потребовала новую, нежную и мягкую, как шёлк. Потому, видать, панский кожушок и должен быть без пуговиц, что младенца будут в него оборачивать, и должен быть на вырост, чтобы недоношенный скорее набирался сил и подрастал. “Таким же удальцом, как наш Мицэ”.

“Скажи мне, Илинка, можно ли шить из шёлка кожух?” — спросил жену Константин. А сам выдохнул облегчённо, с благодарностью и любовью глядя на жену, дивясь про себя мудрому спокойствию своей ненаглядной Ильяны. В который раз своим словом, будто в сказке, развеивала она сковавшие его чары тревоги и беспокойства, насылала в душу спасительное умиротворение.

Вчера Константин шил весь вечер, и Михай стал засыпать стоя, как жеребёнок, под мамино “оф, оф...” из-за печки, где стояла лежанка, и отец отправил сынишку спать, и шил уже сам, при лучине, напевая еле слышно тоскливую “Миорицу”.

Закончить *господский* кожушок не успел, побоялся, что испортит в полутьме работу. Мездра на серебристо-серой мерлушке, оплаченной серебром, была насколько дорогой, настолько и нежной, скорой на порчу при каждом неосторожном движении.

Чуть свет труд был продолжен, и Михай, едва пересиливая желание спать, занял своё место. Помогать отцу в этот раз было много легче. Невесомо лёгкий кожушок кроился и шился как раз по нему, и Мицэ представлял в полусне, как выходит на улицу в господском кожушке, который на самом деле и не панский вовсе, а его собственный, Михая Константина.

А тут Трифон заплакал, да так, что совсем зашёлся от крика, терпеть и слышать который не было мочи.

Но отцу плач Трифона ничуть не мешал. Он не скрывал радости от окончания работы и встретил появившуюся в дверях жену шуткой про Константина-императора и царицу Ильяну.

\* Шарпе (молд.) — змея.

\*\* Кумэтра (нистрианск.) — кума.

“Нашёл царицу!” — отвечала вбежавшая на плач младенца мама. Она суетливо раскутывалась от платка. Даринка уже держала ковш с водой наготове, чтобы помочь маме сполоснуть над корытом руки. Утирая ладони передником, мама успела обнять и прижать Даринку, приласкать её и поцеловать в маковку. Потом посмотрела на Михая, приласкала взглядом, словно ладонью, чёрные, как смоль, волосики сестрѣнки.

Было видно, что ей, как и всегда, очень приятно слышать шутливое восклицание мужа. Хотя обычно мама на шутку отца отвечала причитанием. “Император наш — с ноготок, не разглядишь под царским твоим одеянием”, — вздыхала она. А тут вдруг заулыбалась и сказала, любуясь сыном:

— Ох, и знатно сидит на нашем Мицэ кожушок.

Повернувшись к зыбке, она распахнула бонду.

— А ведь панская одѣжка сшита по мерке нашего сына, — с шутливой значительностью произнёс довольный отец, разминая затѣкшую шею.

И вдруг, посерьѣзнев, добавил:

— Для каждого у Боженьки одѣжка по ножке... Не зря поѣтся: “Оставяйся в своём гайдучестве, а я останусь в своём господарстве”.

Бережно, как сокровище, мама вынула Трифона из зыбки, а перед глазами Михая вдруг, как живая, увиденная наяву, развернулась вся песня про хитроумного Миу и великого Штефана, и вдруг почудилось, что не кто иной, как он, маленький Мицэ, оборачивается то затравленным зверем, то чабаном, то хитрецом, отстоявшим своё гайдучество перед грозным ликом властителя, повергавшего ниц народы и страны. И властный лик обернулся покрытым каменными складками лицом страшного Пуги, но только глядит он не свирепо-насуспенно, а с мольбой, из глубокой, чёрной волчьей ямы, в которую свергнул его не кто иной, как храбрец Михэицэ. И тут Трифон затих. Мама вынула ему из ворота рубахи грудь. Она была, как топленое молоко, застывшее пенкой у горловины вынутого из печи горшка, как залитый утренним солнцем первый снег, на который больно смотреть. Мицэ закрыл глаза, но успел заметить коричневую, как мѣд деда Михая, каплю соска.

Отец принялся шить и с тем особым чувством, с каким довершал важную работу, запел. Это была “Илинкуца” — песня о черноокой девушке, взятую в полон и обретшей свободу от пут и турок на дне Днестра.

Так у отца всегда выходило: когда кроил, пел про доблесть воинов Йована Йоргована, Романа и сына его Копилаша, про Грую, Новака и дикую деву-богатыршу, про удаль бесстрашного Кодри, бесшабашного Кодряна и хитроумного Миу, про подвиги героев и дела господарей давнего времени, с похвалой хорошим и осуждением злым и лютым.

А как наступало время шить, заводил отец “Миорицу” или “Мастера Маноле” — песню, под которую мама всегда утирала слѣзы.

Сейчас он запел любимую мамину “Илинкуцу”.

Что произошло? У Михая внутри всё замерло в готовности внимать и внимать строкам, закачавшимся, будто лодочки на днестровской волне. И ещё — в предвкушении. Вот неведомая влага волнами начнѣт орошать душу, исполняя её, подобно бездонному водоносу, без меры, слово за словом, и каждое найдѣт там место, и ни одно не потеряется, не выплеснется за край. Удивление сверх меры прежде всего исполнило Михая: от того, что так ясно, стезжок к стезжку, он всё это вдруг разом и заранее узрел.

Защемило и заныло в груди, защипало глаза, будто в них попала рапа\*. Но почему так сладко стало от этой солѣной на вкус ноющей боли?

Захотелось вдруг крикнуть маме, поделиться во что бы то ни стало тем, что его исполняло, и как он перестал замечать своё стояние и границу между “долго” и “бесконечно долго”, как будто само время замерло, став с ним в круг. Но это желание обожгло позже, когда песня закончилась, а пока мальчик заворожѣнно следил за тем, как строка за строкой, куплет за куплетом смѣтывалась стезжками судьба Илинкуцы в его вдруг очнувшемся сердце.

---

\* Рапа — солевой раствор. При дублинии овчина вымачивается в рапе после того, как её выскабливают от жира и мяса. Также рапа используется для приготовления овечьего сыра — брынзы.

Неясной и сладкой истомой мечты, как сжатые в жменю ладони — струёй родника, полнили грудь, текли прозрачные струи, играя золотом лучей, багряно-закатными бликами, без остатка вбирая и туманные мысли, и душу маленького Мицэ в неударимый мглисто-зелёный поток.

Плывёт по реке басурманский каик, на нём велик шатёр, снаружи весь разубранный по-царски, в зелёное платно да узоры знатны. Но внутри шатра пусто, как в утробе голодного волка. Алчет нутро нежной девичьей плоти, рыщут турки, словно волки, по берегу Днестра, ищут черноокою красавицу-Илинкуцу.

Надёжно схоронила мать свою дочку: выкопала мотыгой яму в огороде под мятой, накрыла овчиной, засыпала чёрной землёй. Точно в могиле Илинкуца: лежи смирно, дыши через тростинку. А турки уже тут как тут, кричат, стучат в ворота, требуют черноокою добычу. Мать всплещивает натруженными руками, ведёт басурман к Илинкиной могилке, оплакивает умершую дочь: под окном её могилка, там, где мята под окном, чтобы ветер от полудня веял мятой прямо в дом!

Безутешно горе матери; дрогнули, окропились выступившей росой каменные сердца басурман. Старший среди турок, страшный на вид, с рассечённым напополам лицом, с одним глазом — настоящий *делли*! — прячет ятаган в ножны, просит дать испить. Мать спешит угодить незваным гостям, не помнит себя от радости, боится радость свою показать. Не пьют турки вина, пьют воду. Вкусна вода. Илинка от родника с утра бадеечку принесла. Свиристый дели зыркает по хате страшным глазом, вопрошает: “Где твой Шандру?” Мать отвечала, как на духу, что, мол, в город Брашов отправился муж, купить платок для дочурки Илинки. Боли материнского сердца достало раз на обман, а тут подвела простота бесхитростной правды. И ведь и вправду, делеял отец свою ненаглядную Илинкуцу так, что и матери иной раз становилось завидно, и звал дочь не иначе, как светом очей своих.

Кровью налился страшный глаз басурмана, побагровел страшный рубец поперёк волчьего его лица. Рассвиридели турки, привязали мать к припечным балясинам, стали пытать, жёстко били перевитыми плетью, стали резать её груди кривыми саблями, посыпать солью. Белая соль становилась красной, а потом рыжей. Истекала мать криком и кровью, не выдавала, где пряталась её ненаглядная дочь. Веяло в окно дурманящим запахом мяты от куста, под которым надёжно схоронилась Илинка.

Словно мёртвая, не шевелилась, лежала та под овчиной, присыпанной чёрной землёй, дышала через тростинку. Всё громче и громче становились на вой похожие крики палачей, переплетаясь с криком, стоном и воем обезумевшей от пыток матери. Сочился этот крик вместе с воздухом по камышовой тростиночке, плетёною плетью стегал сердечко Илинки.

Не выдержала она, выбралась из могилки, кинулась к матери, да не сразу признала её, изувеченную басурманами. А турки с гиком и воем Илинку накрепко путами вязали, да каик с драгоценной добычей в шатре к самой середке реки направляли.

Дважды обмануть турок матери не достало, Илинкуце пристало. Илинка плачет, что пути тути, что руки и лицо черны от земли. Сулит туркам нежность и ласку, пусть только ослабят верёвки, дадут юнице заплести черны косицы, умыться речной водицей. Развязали хищники Илинкуцу, а та говорит: чем быть рабыней в басурманах, чем служить прихотям поганых, лучше кормить рыб и раков, пусть пируют девичьей плотью жители в подводных странах.

Да тихонько пошла Илинка на дно, да и турок с собой увела заодно. Лишь один не утоп, тот, что в хате стоял и руки на Илинкину мать не поднял, а в шатре деве в чёрные очи глядел и ни слова сказать басурман не умел, а как выплыл, вернулся на берег, как тать, и родным Илинкуцы сумел рассказать, что и турок, и их черноокою дочь прибрала в свою бездну днестровская ночь. От того, что звали девушку, как маму, ещё острее щемило внутри. И ещё от того, что себя, обряженного в шкуры, Константин представлял тем самым, плывущим по реке страшным шатром, который вместе с Илинкой и схватившими её басурманами отправился на корм рыбам и ракам.

Когда мама, покормив утомившегося Трифона, прятала грудь под рубаху, искусанный младшим братом сосок был красен, как кровь на снегу возле панской кошары.

\* \* \*

— Отнесёшь отцу, скажешь: от нанашула подарок.

Крёстный снял с уложенных стопкой овечьих шкур верхнюю, с густой шерстью.

— Хорошо, дядя Ион, — с готовностью кивнул Михай.

Шкура была с одной из тех овец, что задрали волки. Шерсть уже не выглядела такой белоснежной, как тогда, на пропитанном кровью снегу: стала светло-коричневой, даже сероватой. Совсем не тяжёлую, мягкую, мальчик взял её в охапку и бережно прижал к груди.

— На что эту шкуру Константину даёшь? — раздался из кухонного придела голос тёти Нади. Недовольство звучало в её голосе. Они между собой говорили совсем не так, как отец с мамой. Тётя Надя как бы всегда ругала дядю Иона, а тот как бы всегда оправдывался. Мама никогда не говорила с отцом так, как крёстная с крёстным.

Крёстная и дядя Ион были добрые. Как только Михай ступил на порог, тётя тут же заставила его съесть кусок ароматной плацинды с луком, яйцом и укропом, дала запить глиняную кружку молока. Да его и заставлять не надо было. Пока добирался до дома крёстного по глубокому, навалившему за ночь снегу, надыхался морозным воздухом, весь запыхался. А тут на подходе к дому дяди Иона так вкусно запахло тёти Надиной выпечкой, что заурчало-заворочалось в животе, будто оживился прикорнувший там шаловливый щенок.

Дядя Ион махнул рукой в сторону кухни, откуда доносился голос крёстной.

— Кум найдёт, на что, — откликнулся он и, заговорщицки подмигнув Михаю и подкрутив длинный ус, добавил:

— Не пропадать же добру...

— Это добро волчьей слюной порчено... Было добром, да не добром обернулось...

— Глупости говоришь, Надя... — не сдавался крёстный, не оставляя свой ус. — Овца она и есть овца. Разве может добро стать не добром?

— А ты послушай, что баба Параскева говорит. Негоже волком порченную шкуру в хозяйство пускать. А тем более — на одежду...

— Будет тебе, Надя... Константин не глупее нас с тобой и бабки Параскевы. Любит она сказки баять.

Тётя Надя появилась в проёме между кухней и припечным пространством комнаты, где лежали навалом и в стопках шкуры, а две сохли, растянутые на стоявших у стены рогатках.

— Сказки?.. — строго и с осуждением переспросила она. Дядя Ион враз подобрался и оставил ус, в тот же миг потеряв игривую на лице усмешку.

— А когда жена Пуги, твоя кума, напугала маленького Ионела, и он исходил по ночам криком, кто снял сглаз с нашего Ионела? Не ты ли бабке Параскеве с поклоном отвозил ягнятину, и брынзу, и яйца, не она ли не взяла ничего и молвила, что сами, мол, ешьте, набирайтесь сил и деток кормите лучше?

— Она и твоя кума... — только ответил Ион, шумно выдохнув. — Тут вот жизнь такое преподнесёт, что ни в какой сказке не услышишь. У меня, Надя, всё Барза не выходит из головы...

— У тебя лучше бы не выходило из головы, как хлеб починить, а то прореха в полевины, а всё никак хозяин не заделает. А ему всё собака его из головы не выходит...

— Да погоди ты, Надя... Я, вишь, место её смотрел. Кровь там, под сеном, на досках...



— Ну, так и ясное дело, что кровь, против волков-то...

— Да погоди ты... Кровь-то не та... Течка у неё началась. А я и посмотрел. В хлев надо было её, под замок, а я, вишь, на дворе оставил.

— Так чего уж теперь, коли всё одно бедняжка отмучилась... Волки-то всё одно задрали...

— Так вот ведь дело-то какое. Задрали... Останков каких, вишь, нет как нет... Вот я и думаю... Может, она...

— Что ж она, с волками, что ль, сбёгла? Думает он! Так ведь это ты, Ион, сказочник!.. Тебе не овец стричь, а дитям байки сказывать. Вон Михэичэ уши развесил, аж глазёны горят.

— Эх, Надя... Оставить мальчика-то... Ладно, Михай, пора тебе в путь. А то совсем тут взопреешь...

Дядя Ион поднялся с лавки с готовностью проводить крестника за порог.

— Овчину домой отнеси, а отцу скажи, что домнул Христофор\* выехал с паном и с гостями господскими на охоту. А как у них там пойдёт? К полудню пусть справится на псарне. А всего лучше — ко мне пусть идёт. Будем с Ионелом на панской кошаре...

\* \* \*

Затем, чтобы узнать, где сейчас домнул Христофор, собственно, и послал сына Константин к своему нанашу. На сегодня был уговор с управляющим по поводу панского козушка. Корпел Константин, три ночи не спал, чтобы успеть к сроку, не подвести с барским заказом.

А тут оказалось, что пан со своими гостями и собачьими сворами на охоте. И с ними — Пуга. Устраивали облаву на волков, посмевших разорить господскую отару.

Управляющий Христофор Ока ведал, помимо всего необъятного панского хозяйства, и панским псарным двором, вернее, двумя псарнями: меньшей, для пастушьих собак, сопровождавших многочисленные панские отары. Вторая — плод неустанной заботы дворовой челяди, где в холе содержались борзые и гончие для устройства излюбленной панской потехи и страсти — псовой охоты.

За лето и осень псарный двор значительно расширился. Для приобретённых паном прошлой осенью щенков гончих — трёх сучек и трёх кобельков — псарню расширили, выведя постройку с собственным хлевом. На Пасху барину подарили годовалых борзых, что позволило отделить вторую свору, для которой пан распорядился построить отдельный хлев.

Пан, отныне обладатель собственной стаи гончих и целых двух свор борзых, едва дождавшись первых заморозков, выезжал несколько раз за охотничьим счастьем. Полежал немного вдруг выпавший рано снег, а потом сошёл. В побуревших от холодов и дождей полях, на оголившихся опушках гончие зорко высматривали белеющих на зиму зайцев, один раз выгнали из осинника лису, но это всё было забавой, едва тешившей сердце барина, а вовсе не стоящим делом, от которого дух захватывает и забываешь обо всём, забываешь себя.

И вот — благословенье судьбы! — такой повод явить перед гостями, перед самым сиятельным графом, почтившим со своей молодой женой усадьбу пана визитом по случаю рождения наследника, новую совершенно езду! Не как прежде — *в одну свору*, из одних лишь борзых, а стаей и двумя сворами выйти на настоящую добычу — стаю волков, матёрых серых хищников. Вот когда без лишнего слов убедятся соседи, что не зря панский род связан кровным родством с самими Любомирскими. Не иначе, над Станиславом, наследником рода, восходящего к вишневецким корням, взошла счастливая звезда!

И пусть пани Анна изводит себя и окружающих, и прежде всего — своего супруга неизбежной тревогой и беспокойством по поводу здоровья новорождённого. Напрасное переживание! Шляхетская кровь не ждёт

\* Домнул (молд.) — господин.

благоприятного случая, а берёт сама то, что ей принадлежит по праву! Ибо так наречён Станислав, сиречь тот, кому уготовано добывать себе и своему роду немеркнущую славу, сжимая сталь в воинской длани.

И ведь совпало, что и съехались гости, и сиятельный граф с молодой супругой (исполненной непревзойдённо изящных манер и очаровательного кокетства), и волки, и первый снег, и именно он, ясновельможный отец новорождённого наследника, первым в округе открывает езду по белой тропе.

В ведении хозяйства и быта поместья Христофор Ока был карающей панской десницей. Так же выстроилось и на охоте. Капризно-изменчивая панская воля не могла обойтись без лютого кнута своего управляющего. В качестве ловчего тот забирал бразды правления охотой в свои каменно-тяжкие, но скорые на расправу длани: намертво удерживал и узду всей езды, и арапник; уверенно сидя в седле в своём тёмном кафтане борзятника, неотвратно вёл барскую свору борзых на добычу.

Самолично следил Ока за ростом гончих щенков. Барин всё лето выказывал нетерпение, настаивал на начале нагонки. Пуга медлил, как мог, умерял панский пыл, понимая, что рано ещё начинать натаскивать неокрепший выводок, что дожждаться надо хотя бы октябрьских, когда им исполнится год. И потому больше натаскивал псарей, чтобы знали дело, чтоб на псарном дворе и в хлевах, и в чулане, и в домике ловчего каждый угол сиял чистотой и порядком.

Когда барским гончим исполнился год, вдруг выпал снег. Негоже нагонку начинать по снегу. Следовало дожждаться, пока ранний снег сойдёт, чтоб натаскивать гончих по чёрной тропе.

Но пан был неумолим. Не смея нарушить до гнева охочую панскую волю, взялись за нагонку щенков по снегу. Через несколько дней снег действительно растаял.

Барин наконец-то вывел стаю молодых гончих на первое поле, причём по чёрной тропе. Собаки уверенно взяли зайца. Барин первым полем остался очень доволен.

Пуга в душе не разделял панской радости. Не зря говорят: нельзя о собаке судить по первому полю. Много ли требуется ума высмотреть в чистом чёрном поле беляка, уже примерившего зимнюю шубку? Гончая должна полагаться не на глаз, а на чутьё, которое нагонкой, с самых азов и закладывается. А если нагонку начинать по белой тропе, когда запахи зверя укрыты под снег, откуда же гончей проведать, что полагаться следует не на глаз, а на нос?

Так и вышло нынче: облава на волков не задалась. А ведь делалось всё, как следовало. Только барин распорядился готовить выездку на заре, а всё уже подготовлено загодя — охотничья одежда и кафтаны для гостей, лошади взнузданы, к седлам старательно приторочена амуниция.

Накануне Пуга сам выезжал с псарями к лесу. Искали след. Нашли за лесом, на той стороне от села, на самом краю занесённого снегом оврага. Всего в двух часах езды вокруг, если с южной стороны. Это если скорым шагом, а рысью и того быстрее. Когтистые следы были матёрого зверя, явно указывавшие на укрытое в чаще волчье гнездо.

Видел, как вспыхнули чёрные зрачки барина, как только услышал он про след и про волчье логово. Читал Пуга по лицу своего барина, как в открытой книге, чуял: нынче же барин распорядится готовить выездку на заре. Не обмануло Пугу чутьё. Засидевшиеся в нескончаемом пиру, отяжелевшие и разгорячённые, мужчины с радостью поддержали предложение хозяина развеяться псовой охотой, затемно переоделись и вскочили в седла, предоставив своих жён чаю, беседам и прочим дамским развлечениям.

Поначалу выездка представлялась захватывающим, но исполненным сплошной приятности развлечением, с ездой до ближнего леса, с лёгкой добычей вблизи поместья. Охота складывалась удачно. Всмотренные накануне следы явно указывали на то, что волчье логово расположено в ближнем к Христофоровке лесу, обширно вытянувшимся в форме яйца, основанием повернутого в сторону села, а остриём упиравшегося в пустынное пространство.

Редкий, иссечённый балочками перелесок тянулся вдоль глубокого оврага, а после, верстах в трёх, переходил в пологую, заросшую ельником сопку.

Ока вершил ход выездки, во всём для проформы согласовывая действия с паном. Обложили лес со всех сторон. Сам Ока со сворой борзых стал на обратном краю леса, под прикрытием взгорка, от которого начинался глубокий овраг. Именно тут, у оврага, накануне обнаружили волчий выход.

Чуял Пуга звериным своим нутром, ни разу его не подведившим, что именно здесь должны будут появиться волки. Тяжёлая рука его накрепко удерживала на ремнях нетерпеливую свору борзых, всё панских любимцев: Репрева, Перуна, Аврору, Кару. Чуть в стороне от своры — собственной ясновельможной персоной находился и пан, похлопывал и поглаживал по шее свою кобылу Виору, словно бы её утомонивая. Но на самом-то деле ловчий Ока прекрасно знал повадки хозяина, который сейчас вот тщетно старался не выдать захлёстывающий его восторг, подступавший от предвкушения предстоящего галопа и зверя, которого пан непременно постарается принять от собак первым.

Уж на что непомерно пилося в усадьбе, и сколько опустошено бутылок, извлечённых из панского погреба, а только пан оказался в седле, так будто и протрезвел, весь собрался, сосредоточился и немало взбодрил и настроил на серьёзный лад своих поначалу не в меру шумливых и безалаберных сотоварищей. Тут же, вместе с паном — его лучший друг и соратник по кутежам, ольгопольский сахарозаводчик Белина-Бржозовский, а также помещик Антонович, пожаловавший на грядущие крестины новорождённого аж из Парадизиопольского уезда, с супругой и тремя дочерьми, две старшие из которых были на выданье, а также с целым возом даров его обильного парканского хозяйства, включавшего не только маслобойню и сыродельню, но даже плоды возделываемого в поместном саду собственного шелкопрядения.

Остальные гости были распределены вокруг леса, приставленные к соответствующим борзятникам, исключая Выбодовского, отставного офицера, воевавшего под началом самого каменского владельца, сиятельного Витгенштейна (нескончаемыми устными свидетельствами сего героического факта гости уже были немало за прошедшие дни утомлены), а ныне помещика из Белочей, который вызвался сопровождать выжлятников в лес. По сему поводу и в поощрение героического порыва господина Выбодовского пан наделил его почётным званием доезжачего, к вящей гордости титулованного. Впрочем, всю действительную работу старшего гончей стаи и над доезжачими должен был исполнить псарь Петря, в семь согнанных шкур собственноручно вымуштрованный Пугой. Миссия же белочинского владельца призвана была ознаменоваться лишь тем, что он, заслышав звук ловчего рога, должен подать ответный сигнал из торжественно вручённого ему рожка. По этому звуку стаю гончих и должны были запустить в лес.

Окантованный серебряной насечкой полумесяц ловчего рога находился в полновластном владении Оки. Наконец, расставив всех по пути, добрались они до своего места: под балочкой, на опушке, там, где начинался отвесный край глубокого оврага, уходивший к правому краю погружённой в серую мглу сопке.

Вид земли, оголившейся тёмно-бурыми проплешинами, исчертившейся облогами и буграми балок, будил в ловчем тревожные мысли. Ветер, не утихавший всю ночь, не оставил следа от волчьих следов, продул перелесок, точно мглой, сметая с него весь снег в овраг. Не к месту эта тревога за самый миг до того, как протрубит ловчий рог. Гнать её в шею, эту тревогу! Трубить! Ну, что там, барин, ясновельможный отче?

“Ту-то-о-о!.. Ту-то-о-о!.. Ту-то-о-о!..” По нетерпеливому кивку пана протяжный позыв огласил мертвящую тишину морозного серого утра, словно огрел лесную чащу триединым ударом неотвратимого бича.

Белочинский помещик не сплеховал. Добрался с той стороны звук рожка доезжачего, и следом покатила на них, разом выдавив из леса тишину, нарастающая, шумная волна криков, гиканья и улюлюканья.

Это приближающееся нарастание передалось лошадям и собакам. Ремни натянулись и заходили в руке Ока, как готовые вот-вот лопнуть струны, заходила под ним, замотала мордой, заставив натянуть поводья, Стелуца\*. Норовиста была кобыла, но не пуглива перед зверем. А тут вдруг шарахнулась, всем крупом, неодолимо, с такой животной силой, что Ока едва удержался в седле, во многом из-за того, что удерживал на натянутых ремнях борзых.

Что-то серое, большое мелькнуло из-за спины. Волк, огромный, с густой, тёмно-пепельной с грязно-чёрными, смоляными подпалинами шерстью выскочил из бурелома прямо на охотников. Пока усмирили обеспамятовавших лошадей, пока Ока разжал, наконец, каменную свою длань, спуская бившуюся на ремнях свору, зверь уже успел отбежать по перелеску. Серая тень стлалась вдоль оврага, в свинцовой дымке, почти неразличимая на фоне выметенной ветром от снега пустоши. Пан, щёлкнув плетью, первым бросил свою Виору следом за борзыми, за ним устремились остальные.

Репрев, стремительный, как стрела, нагнал зверя первым и, несмотря на то, что волк был почти вдвое его крупнее, бесстрашно пошёл на сближение. А зверь словно замедлился, расчётливо подпустив пса, и вдруг, резко развернувшись, мотнул страшно оскаленной пастью с задранными, как носок турецкой туфли, носом. Словно бритвой, хлестнули клыки по вытянутой в струнку шее Репрева. Хриплый визг брызнул из раны, заклокотал кровавой слюной, и борзая, кувыркнувшись, покатила по мёрзлым кочкам, сбиваясь в бурый ком. Пан, несшийся галопом впереди, обернулся. Скакавшие следом Ока, и Антонович, и Белина-Бржозовский увидели застывшую на лице его жуткую гримасу, сведённую судорогой ярости и боли.

Борзые меж тем настигли добычу. Кара, Перун и Аврора приблизились к волку почти одновременно, с левой стороны и сзади, взяв его в полуклещи. Зверь жался к кромке занесённого снегом оврага, тем самым как бы защищая себя с правой стороны. Кара метнулась наискосок, атакуя зверя в задние лапы. Но волк, словно выждав момент броска, вильнул, и собака, промахнувшись, вылетела в овраг, утонув в снежном море.

Нечленораздельный крик, больше похожий на рыканье, исторг пан, нещадно нахлёстывавший арапником и без того летящую во весь опор Виору. В этот миг Перун, стрелой выбросившись вперёд, вонзил клыки в волчье подбрюшье с левой стороны. Зверь тут же скрутился калачом, вцепившись борзой в переднюю лапу. Наскочившая Аврора, умная и надёжная борзая с мощными лапами и грудной клеткой, и пастью, крепкой, как железный капкан, слёту вцепилась в волчий загривок. Удар её тела был настолько силен, что борзые и волк, сбившись в насмерть сцепившийся, остервенело хрипящий, визжащий и брызжащий розовой пеной ком, покатались влево, в снежный намёт. Чёрно-смоляная, серая, пепельно-бурая, тут же ржавеющая круговерть взметнула белую взвесь и вдруг канула. Провалилась, будто в темноводный омут проруби, вдруг разверзшейся посреди, казалось, накрепко сковавшего реку льда.

— Стойте, пан!.. Стойте!.. — не помня себя, заходясь от крика, исторг Ока. — Там овраг! Убьётесь! Стойте!..

Словно выстрел кнута, огрел пустошь истошный вопль управляющего. На самом краю снежной замети осаждаемая ездоком Виора взметнулась на дыбы. Казалось, она вот-вот обрушится на спину и раздавит наездника в гневе за то, что вот только тот безжалостно стегал её бока, ведавшие лишь нежную холу, заставляя лететь вскачь, и вдруг сам же оборвал полёт. Но пан, искусный лошадиник, словно прирос к лошади, намертво облавив её стройную шею, и ловко повёл поводьями в сторону, увлекая и усмиряя неистовую и прекрасную животную ярость.

Не успели охотники приблизиться к пану, неистово гарцевавшему у заснеженной кромки оврага, как эхо оглушительного хлопка донеслось со стороны леса. Как будто кто-то сильный в гневе и ярости разорвал резко холстину.

\* Стелуца (молд.) — звёздочка.

— Выстрел?! — вдруг замерев вместе с лошадью, воскликнул пан. И следом, обращаясь к Оке, прокричал с тем господским нетерпением, которое требует незамедлительного ответа:

— Христофор, кто стрелял?! Почему стреляли?!..

\* \* \*

Поначалу Михэицэ нёс овчину в охалку, прижав к груди, но руки быстро устали, и он накинул её на плечи и голову. Сразу стало и легче, и теплее. Ветер, тянувший со стороны дальнего леса, гнал по полю позёмку, пробирая до косточек. Пока мальчик шёл к крёстному, совсем замёрз, хотя и кутался, прятал уши под кушму и шею в воротник коужуха. А теперь дуло в спину, да ещё защищала шкура. Папа сказал бы: “Как у Христа за пазухой!” Всегда так говорил, когда заказчик одевал пошитый тулуп, или коужух, или бонду. Сытость от тёти Надиных обжигающих плацинд и парного молока растекалась по телу сонным теплом, и Михай оцүтил себя под шкурой так уютно, будто пребывал он в каком-то волшебном шатре, исполненном сладкого забытья.

По господскому парку селянам ходить запрещалось, и попасть на панский двор разрешалось только по липовой аллее. Но он дважды этот запрет нарушал, правда, с другими мальчишками, чьи родители трудились на панском дворе, да и то бегом, по самому краешку пересекли рощу высаженных ещё прадедом пана дубов, выходящую в поле.

Неодолимая нега и лень вязали каждый шаг, каждый взмах руки, и путь в обход панского парка, которым следовало идти, показался Михаю непомерно, нескончаемо длинным. К тому же дядя Ион вот сказал, что и пан, и все гости, и главное — страшный Ока со своим лютым кнутом сейчас на охоте. Вот и сошлось в голове маленького Михэицэ, что можно срезать путь через дубраву, как сделали они летом с Матеем, Васькой и Дариной — бегом, так, что пятки мелькали, боясь обернуться от восторга и ужаса, что вот выскочит из-за неохватного ствола страшный Пуга и схватит, и выстрелит своим жутким кнутом.

Теперь-то Пуга был далеко, а Михэицэ был, и в самом деле, у Христа за пазухой.

В такой же сладкой неге засыпал он вчера на припечной лежанке, возле мамы и сестрѐнки. Отец заканчивал работу над панским коужушком за печкой, при лучине.

Его голос тихо пел о Миорице, овечке, оплакивающей своего пастуха.

Ныли уставшие от стояния ноги, и спина, и шея, волнами отдавали свою усталость разливающимся в материнском тепле отдохновению. Это чувство ноющего после работы тела вдруг соединилось с щемящей жалостью, лившейся из отцовской песни, и окатило Михая таким тоскливым счастьем, что он зажмурился в темноте, пытаясь не выпустить слѐз, забивших горячими родниками.

Мицэ и не заметил, как свернул к заметѐнным снежными сутробами дубам. Папина песня прорастала в нём из вчерашнего сна, разворачиваясь щемящим таинством счастья.

Чабаны возвращаются с горного пастбища вместе со своими отарами. Вдоволь напаслись овцы под зорким пастушьим оком на сочных лугах, отучнели предвозвестьем жирной и белой брынзы, лоснящимся руном. Не нарадуется чабан-молдаван: точно белые облака по изумрудно-зелѐным склонам, спускается его отара, отары добрых его спутников-пастухов — унгуриянина и врынчанина. Не чует чабан злого умысла, но ведает про то вещь овечка его Миорица. Весел и полон надежд, прилѐг молдаван, разметался на коужухе, следит в лазурном небе белые облака, представляет ту ненаглядную, что живѐт в долине, ресницы её и косы, блестящие, как ночная смола, а вся она невесомо-белая, как овечки, плывущие над головой.

Застит свет лазурного пастбища чабану Миорица, шепчет тёплыми, словно материнские руки, губами в самое ухо, словно щиплет изумрудную траву.

Недоброе замыслили другие два пастуха, унгуриянин и врынчанин: сговорились убить молдавана, зарезать его, когда он заснёт.

Долго молчит чабан, всё так же лежит на пастушьем своём козле, следит облака, что плывут над самым склоном, задевая шумливые кроны высоких буков. Вот, кажется, протяни руку — и вырвешь клочок овечьей шерсти...

— Послушай меня, верная моя Миорица... — наконец обращается к овечке чабан. Внимает овечка каждому слову из наказов своего пастыря, а тот, пока говорит, провожает взглядом каждое облако в небе.

Просит её, истомлённую непомерной тяжестью вешего горя, чтоб поведала матери: не умер он, а женился.

Пусть убийцы похоронят его возле кошары, хочет быть он рядом со своей отарой, слышать лай своих собак.

Пусть унгуриянин и врынчанин положат у изголовья его могилы три его флуэра — костяной, из бука и из бузины. Ветер сыграет на них, собирая овец. Сойдутся они, вспомнят его и прольют свои слёзы.

Самый строгий наказ Миорице: сохранить убийство его в тайне.

Пусть скажет она: прижился, мол, у чужих, женился на всесветной невесте.

Небывалой была его свадьба. Лучезарно упала с неба звезда, луна и солнце держали её свадебным венцом. Чёрная гора венчала жениха и невесту, дружками были деревья, свадебной музыкой — птичий свист. Горели венчальные свечи-звёзды, до дна пили чаши-гнезда.

Но не каждому пусть поведаёт она о небывалой свадьбе. Коли встретит вдруг его горем гонимую, льющую слёзы, донимающую всех расспросами о сыне старушку-мать, пусть скажет ей Миорица только одно: женился он на всесветной царице у пределов рая. Но пусть умолчит об упавшей с неба на свадьбе лучистой звезде, о нанашулах солнце с луною, о венчавшей молодых горе, о дружках-деревьях.

Не сразу осознал Мицэ в своём укрытии, что неясный шум — не отголосок чудесной пастушеской свадьбы, что долетает он вместе с ветром со стороны серевшего за полем леса. Ещё раз на ходу развернувшись, глянул он из-под овчины в сторону леса и стал, как вкопанный.

Тёмная жирная точка неровными скачками двигалась по полю. Стремительно набухая чернотой и размерами, она бежала от леса в его сторону. “Волк!” — прошло догадкой, и волна горячего жара окатила мальчика с головы до постолов, старательно увязанных матерью поверх шерстяных носков. Следом, откуда-то из самого сердца и живота, выступил ледяной пот, сковав всё его тело. Но тут хватка незримой, но неодолимой гигантской пасты страха, сжавшей всё его тельце, разом ослабла, точно нехотя выплюнув.

— Барза! Барза!.. — закричал он, захлёбываясь от небывало радостного облегчения, всё ещё не веря своим глазам.

Теперь, когда она подбежала совсем близко, стало ясно: это в самом деле она — овчарка дяди Иона, соучастница всевозможных игр и проделок, и попросту бесконечной, никогда не надоедавшей ни ей, ни ему возни с Михаицэ.

Собака вдруг словно споткнулась, вильнув задними лапами и хвостом. Следом оглушительный раскатистый грохот накрыл поле. На белое поле, словно пригоршня колокольчиков, высыпала стая собак. Растянувшись в ряд, захлёбываясь от лая, они бежали в сторону господского парка.

Барза была уже совсем близко, когда повернула вправо, мимо Михая, оставляя на белом снегу красные, тут же буревшие кляксы. Она сильно исхудала, шерсть свисала клочьями, но морда с огненно-рыжим носом была её — его любимицы Барзы! Её золотисто-коричневые глаза на миг встретились с его глазами. Что-то новое, неведомое прежде глянуло на него так, что будто ледяная рукавица сжала на миг сердце. И тут же отпустила. Взгляд был — её, исполненный ума и благородства. Она всё-таки его узнала. И даже успела что-то сказать.

На опушке появился всадник. Весь чёрный, на чёрном коне, он отчётливо выделялся на границе серого леса и белого поля. Он бросил поводья и, перехватив ружьё обеими руками, вскинул его к подбородку. И тут в голове

Мицэ огненно-рыжим пламенем вспыхнуло то, что сказала ему Барза. Одно только слово:

“Беги!”

Мицэ бежал по бесснежной прогалине между полем и дубовой рощей. Заметённые стволы скакали и раскачивались впереди в заливающем солёным потом, застязем глаза тумане, словно перепившие вина плясали дикую пляску на излёте разгульной свадьбы.

Он уже проскочил выступившие к полю дубы, когда что-то ударило его возле шеи и швырнуло в высокий сугроб. Словно мать-волчица схватила и тряхнула непоседливого, заигравшегося щенка за загривок. Или лютый Пуга всё-таки выследил из укромной засады нарушителя строго запрета?

Нестерпимый грохот, сопроводивший толчок, оборвался вдруг оглушительной тишиной. Горячая, как мамин живот, к которому Мицэ прижимал под одеялом озябшие ноги, она облекала его, погружая в спасительный, до мучительной радости белый, всесветный свет.

*(Продолжение следует)*